

P180784.

Илья Репин

БУРЛАКИ
НА ВОЛГЕ

ИСКУССТВО





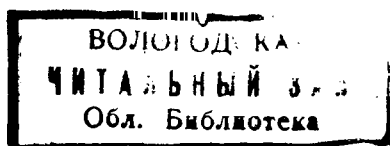
Бурлаки на Волге

Илья Репин

БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ

(Воспоминания)

487/081



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИСКУССТВО

МОСКВА • ЛЕНИНГРАД

1944

курентов-товарищей: пели, свистали, громко смеялись и целыми ватагами сговаривались о прогулке белой ночью куда-нибудь на острова встречать восход солнца и знакомиться с окрестностями Петербурга; находились славильщики: по их словам, эти задворки поражали своей красотой и новостью. Я не верил и сторонился.

Конкурентам запрещалось уставом показывать свой труд товарищам; в мастерские других не входили, и предприимчивые товарищи ловили отшельников в коридорах. В праздники я предпочитал не работать и любил проводить время в знакомом семействе, где были подростки-барышни. Там большей частью играли в фанты и танцевали до упаду: я очень любил танцевать.

Сосед мой по мастерской, программист-вольнослушатель К. А. Савицкий¹, был особенно общителен, — и большой затейник по части прогулок и всяких исканий новизны впечатлений.

— А, Репин, я тебя давно ловлю, — кладя руку на мое плечо, торопился он. — Поедем завтра на этюды по Неве, до Усть-Ижоры.

— Ой, вот застаешь врасплох, — уклоняюсь я, — я вовсе не думал ездить так далеко... И этюдник мой надо привести в порядок для такого путешествия, у меня все в развале. Я привык тут, как дома: наложу красок на палитру и спускаю даже без всякого ящика в наш сад: и натурщик тут же казенный... Куда там еще? «Собак дразнить», как говорят наши хохлики.

— Ну, как тебе не осточертели эти казенные Алексеи и Иваны! — возражает он запальчиво. — И садишко... все это стены и стены, ведь ты тут никакого пространства не знаешь. Вздор все это, собирайся: я тебе мигом приспособлю твой этюдник. Посмотрел бы ты, какие берега! А за Рыбацкой! У колонистов — ирелестные места! Завтра, в семь часов утра, мы едем на пароходе, не кобенясь, душенька, — властно и настойчиво заключил он, — давай-ка этюдник!

И, действительно, он мигом обработал все мои приспособления в этюднике и так ловко, что я в удивлении, невинно гляючи, не мог даже ничем помочь ему, боясь помешать.

¹ Савицкий Константин Аполлонович (1845—1903) — впоследствии известный жанрист. Наиболее известные произведения Савицкого: «Ремонтные работы на железной дороге» (в Третьяковской галлерее), «Проводы на войну» (в Русском музее) и «Спор на меже» (в Музее Революции в Москве).



И. Е. Репин. 1870 г.
Рисунок Ф. А. Васильева

А утром мы уже бурлили по Неве, и я был в несказанном восхищении от красот берегов и от чистого воздуха; погода была чудесная.

Ехали быстро, и к раннему полдню мы проезжали уже роскошные дачи на Неве; они выходили очаровательными лестницами, затейливыми фасадами, и особенно все это оживлялось больше и больше к полдню, блестящей разряженной публикой, а всего неожиданнее для меня — великолепным цветником барышень, как мне казалось, невиданной красоты! Боже, сколько их! И все они такие праздничные, веселые, всех так озаряет яркое солнце. Какие нарядные! А какие цвета модных материй! Да такие же цветы и кругом по клумбам окружают их... Глаза разбега-



На Лахте в белую ночь Ф. А. Васильев (впереди), И. Е. Репин,
Е. К. Макаров и В. М. Васнецов

I

НЕВА — ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Несмотря на тайную титаническую гордость духа внутри себя, в жизни я был робкий, посредственный и до трусости непредприимчивый юноша. Особенно — это и до сих пор осталось во мне — я не любил путешествий и всяких экскурсий.

Так и в 1868 году, готовясь в академической мастерской к конкурсу на малую золотую медаль и работая над программой «Иов и его друзья», я почти от зари до зари проводил время в добросовестных этюдах к картине, подал мастерскую только для сада Академии, где писал тюды на воздухе, и для отдыха на квартире, недалеко от Академии художеств, где я только ночевал.

Академический коридор четвертого этажа, как и сейчас, летом был особенно оживлен молодыми голосами кон-



Василий Ефимович Репин.
Брат И. Е. Репина

ются во все стороны, ничего не уловишь; путается и тасуется сказочный, невиданный еще мною мир праздника; и как его много, без конца!

Но вот ход замедлили: станция. Берег высокий. Двумя разветвляющимися широкими лестницами, обставленными терракотовыми вазами с цветами, к средним площадкам спускаются группы неземных созданий; слышен беззаботный говор, остроумный и розовый смех перловых зубов.

Тут и мужчины, и молодые люди — студенты, и военные мундиры так энергично оттеняют цветник белых, палевых и красных зонтиков... Ну, право же, все это букет дивных живых цветов; особенно летние яркие широкие дамские шляпы, газовые вуали и цве-

ты, цветы... А духи... упоительные ароматы доносятся даже к нам, на пароход — чары, чары до невероятной фантазии...

Ну, спасибо Савицкому, без него я бы никогда этого не увидел. И это счастье было так близко: ведь не прошло и двух-трех часов, как мы вышли из Академии. Для меня это была совершенно неожиданная новость. До этих пор я был полон гордой мысли украинского военного поселенина, что, кроме Украины, нигде в мире ничего хорошего быть не может; спорил с товарищами, что харьковская соборная колокольня выше колокольни Исаакиевского собора, Петербург стоит на болоте, кругом него болота, а здешняя природа — одни стриженные, до гадости чахлые кустики севера... И вдруг такая роскошь растительности, такой густой, брызжущий свежестью цвет зелени. И сирень, и каштаны, и липы... а береза-то, береза! Ведь у нас ее совсем почти нет! Что же об этом молчат! Но еще: на всем этом райском фоне, надо признать, всего красивее люди, где уж нам, дуракам, тут! Как чисто одеты! С каким вкусом сидят на них платья! А на самом обворожительном предмете — на барышнях — я уже боюсь даже глаза останавливать: втянут, не оторвать потом, будет грезиться и во сне... Что-то

опьяняющее струится от всех этих дивных созданий красоты. Я был совершенно пьян этим животрепещущим роем!

Эх, возраст, возраст... ведь, подумают, я преувеличиваю, попросту лгу на старости... Однажды (также в те же времена) день, проведенный в Лигове¹, был полон таких же чудес и красот. Но когда, двадцать лет спустя, я поехал туда же искать дачу на лето, ясно представляя в воображении, даже до мелких примет, и дорогу, и расположение местности, дач, я проездил весь долгий день, утомил извозчика и не нашел ничего прежнего: все уже было по-другому, прозаично, бедно и скучно...

Ну, что рассуждать! К солнцу! К свету! Моя живая картина была само солнце без пятен. Глаз не оторвать от ее красоты и блеска...

— Однако, что это там движется сюда? — спрашиваю я у Савицкого. — Вот то темное, сальное какое-то, коричневое пятно, что это ползет на наше солнце?

— А! это бурлаки бечевой тянут барку; браво, какие типы! Вот увидишь, сейчас подойдут поближе, *стоит взглянуть.

Я никогда еще не был на большой судоходной реке и в Петербурге, на Неве, ни разу не замечал этих чудищ «бурлаков» (у нас в Чугуеве бурлаком называют холостяка бездомного).

Приблизились. О, боже, зачем же они такие грязные, оборванные! У одного разорванная штанина по земле волочится, и голое колено сверкает, у других локти повылезли, некоторые без шапок; рубахи-то, рубахи! Истлевшие — не узнать розового ситца, висящего на них полосами, и не разобрать даже ни цвета, ни материи, из которой они сде-



Художник Е. К. Макаров

¹ В то время дачная местность под Петербургом.

ланы. Вот лохмотья! Влёгшие в лямку груди обтёрлись докрасна, оголились и побурели от загара... Лица угрюмые, иногда только сверкнет тяжелый взгляд из-под пряди сбившихся висячих волос, лица потные блестят, и рубахи насквозь потемнели... Вот контраст с этим чистым ароматным цветником господ! Приблизившись совсем, эта выючная ватага стала пересекать дорогу спускающимся к пароходу... Невозможно вообразить более живописной и более тенденциозной картины! И что я вижу! Эти промозглые страшные чудища с какой-то доброй, детской улыбкой смотрят на праздных разряженных бар и любовно оглядывают их самих и их наряды. Вот пересекший лестницу передовой бурлак даже приподнял бечёву своей загорелой черной ручищей, чтобы прелестные сильфиды-барышни могли спорхнуть вниз.

— Вот невероятная картина! — кричу я Савицкому. — Никто не поверит!

Действительно, своим тяжелым эффектом бурлаки, как темная туча, заслонили веселое солнце; я уже тянулся вслед за ними, пока они не скрылись с глаз. Пароход наш тронулся дальше; мы скоро нагнали барку и видели уже с профиля и нагруженную расшиву, и всю бечеву, от мачты до лямок. Какая допотопность!

Вся эта сказочная баркаролла казалась мне и смешной и даже страшной своими чудовищными возницами.

— Какой, однако, это ужас, — говорю я уж прямо. — Люди вместо скота впряжены! Савицкий, неужели нельзя как-нибудь более прилично перевозить барки с кладями, например, буксирными пароходами?

— Да, такие голоса уже раздавались. — Савицкий был умница и практически знал жизнь. — Но буксиры дороги; а главное, эти самые выючные бурлаки и нагрузят барку, они же и разгрузят ее на месте, куда везут кладь. Поди-ка там, поищи рабочих-крючников! чего бы это стоило!..

Савицкий мне нравился тем, что он был похож на студента и рассуждал всегда резонно.

— А ты посмотрел бы, как на верховье Волги и по всей системе каналов в лямке бечевой тянут, — произнес он. — Вот, действительно, уж диковинно. Там всякой твари по паре впряжено, и все дружно тянут, смеясь: и баба, и лошадь, и мужик, точно нарочно, чтобы мир почудить, и всё это по крутому берегу; так эффектно на воздухе рисуются.

Всему этому я уже плохо верил, я был поражен всей картиной и почти не слушал его, все думал. Всего интерес-

нее мне казался момент, когда черная потная лапа поднялась над барышнями, и я решил непременно писать эскиз этой сцены.

Но программа «Иов и его друзья» поглощала все время этюдами к ней; ближайшим развлечением была игра в городки в академическом саду, на месте нынешнего склада дров. Постоянными товарищами в игре были: И. П. Ропет (архитектор), М. Кудрявцев (живописец), И. С. Богомолв (тоже архитектор), Е. К. Макаров, Урлауб и др. Однако, и посреди игр, и в знакомом семействе с барышнями я не мог отделаться от группы бурлаков и делал разные наброски то всей этой группы, то отдельных лиц.



На берегу Волги

II

ПЕЙЗАЖИСТ Ф. А. ВАСИЛЬЕВ

Как я уже рассказывал, около этого времени у И. Н. Крамского я познакомился с Федором Александровичем Васильевым¹.

Это был феноменальный юноша, Крамской его обожал, не мог на него нарадоваться и в его отсутствие беспрестанно говорил только о Васильеве. Ему было всего девятнадцать лет, и он только что бросил должность почтальона,

¹ *Васильев Федор Александрович* (1850—1873) — талантливый пейзажист. Подростком стал посещать рисовальную школу Общества поощрения художеств. Одновременно учился у И. И. Шишкина. После поездки с Репиным на Волгу в 1870—1871 гг. написал картины «Барки» или «Вид на Волге» (в Русском музее), «Оттепель» (в Третьяковской галерее) и др., был зачислен «вольноприходящим» учеником Академии художеств. С весны 1871 года у Васильева были обнаружены симптомы чахотки. Он умер на двадцать третьем году жизни.

решивши всецело заняться живописью. Легким мячиком он скакал между Шишкиным¹ и Крамским², и оба эти его учителя полнели от восхищения гениальным мальчиком.

Мне думается, что такую живую, кипучую натуру, при прекрасном сложении, имел разве Пушкин. Звонкий голос, заразительный смех, чарующее остроумие с тонкой до дерзости насмешкой завоевывали всех своим молодым веселым интересом к жизни: к этому счастливцу всех тянуло, и сам он зорко и быстро схватывал все явления кругом, а люди, появлявшиеся на сцену, сейчас же становились его клавишами, и он мигом влетал их в свою житейскую комедию и играл ими.

И как это он умел, не засиживаясь, побывать на всех выставках, гуляньях, катках, вечерах и находил время посещать всех своих товарищей и знакомых? Завидная подвижность! И что удивительно: человек бедный, а одет всегда по моде, с иголочки; случайно, кое-как образованный, он казался и по терминологии, и по манерам не ниже любого лицейца; не зная языков, он умел кстати вклеить французское, латинское или смешное немецкое словечко; не имея у себя дома музыкального инструмента, он мог разбирать с листа ноты, кое-что аккомпанировать и даже сыграть „*Quasi una fantasia*“ Бетховена, это особенно меня удивляло.

Я не раз был свидетелем его восторгов высшего порядка, поэтических вдохновений (но это было после на Волге). В искусстве он отлично знал Кушелевскую галерею³ и все славные, модные тогда имена французских и немецких художников так и сыпались с его языка: Т. Руссо, Тройон, Добиньи, Коро, Рулофс и другие; разумеется, его как пейзажиста интересовали большей частью пейзажисты-немцы: Мунте, Лессинг, бр. Ахенбахи и другие.

Несмотря на разницу лет — ему было девятнадцать, а мне около двадцати шести, — он с места в карьер взял меня

¹ *Шишкин Иван Иванович* (1831—1898) — известный русский пейзажист, любозно воспроизводивший родную природу и особенно прославившийся картинами, изображавшими хвойный лес: «Утро в сосновом лесу» (в Третьяковской галерее), «Корабельная роща» (в Русском музее).

² *Крамской Иван Николаевич* (1837—1887) — крупный художник и художественный критик, Горячий поборник национальной русской реалистической школы живописи. Организатор и деятельный участник «Товарищества передвижных выставок».

³ Собрание картин, завещанное Академии художеств Николаем Александровичем Кушелевым-Безбородко. Ныне большинство картин Кушелевской галереи находится в Эрмитаже.

под свое покровительство, и я им нисколько не тяготился; напротив, с удовольствием советовался с ним.

В этих случаях из беззаботного балагура-барина Васильев вдруг превращался в серьезнейшего ментора, и за его советами чувствовался какой-то особый вес. Откуда? Это меня не раз поражало. Я уже кончал академические курсы как конкурент на золотые медали и в продолжение четырех с половиной лет усердно слушал научные курсы, а он — вчерашний почтальон, юнец — цинично хохотал над Академией художеств и всеми ее традициями, а уж особенно над составом профессоров, не будучи никогда даже в ее стенах... Чудеса! Ко мне он заходил только на квартиру, в дом Шмидта, на Четвертой линии, где жил я тогда с мальчиком-братом, вытасненным мною из провинции.

— Ну что, брат! — рассыпается его мажорный голос, едва он переступит мой порог. — А, бурлаки! Задело-таки тебя за живое? Да, вот она, жизнь, это не чета старым выдумкам убогих старцев... Но, знаешь ли, боюсь я, чтобы ты не вдался в тенденцию. Да, вижу, эскиз акварелью... Тут эти барышни, кавалеры, дачная обстановка, что-то вроде пикника; а эти чумазые уж очень как-то искусственно «прикомпановываются» к картинке для назидания: смотри-те, мол, какие мы несчастные уроды, гориллы. Ох, запутаешься ты в этой картине: уж очень много рассудочности. Картина должна быть шире, проще, что называется сама по себе... Бурлаки, так бурлаки! Я бы на твоём месте поехал на Волгу — вот где, говорят, настоящий традиционный тип бурлака, вот где его искать надо; и чем проще будет картина, тем художественнее.

— Ого! Куда хватил! — со скрёбом в сердце почти ворчу я.

Меня он облил холодной водой, и я готов был отшатнуться от его душа.

— Не во-время и, особенно, не по средствам мне твоя фантазия. И я нисколько не жалею.

— Еще бы, знаю тебя: ты тут, в своей Академии, так усиделся, что даже мохом обрастать начал.

И он звонко и пленительно рассыпался здоровым смехом. Меня начинал сердить его покровительственный тон с насмешкой. И я угрюмо думал: «Все же он еще мальчик сравнительно со мной». Вспомнил, как однажды у Крамского, когда в присутствии целого общества Васильев позволил себе во время серьезного разговора какую-то смелость, доходящую до нахальства, я обратился потом за разъяснением к Ивану Николаевичу (Крамскому):

— Этот птенец не по летам смел, — ворчал я. — в яш-
шем и Иван Иваыыча (Шишкина) присутствии он до не-
приличия забывается. Как вы это считаете? Что он такое? —
спросил я серьезно.

— Ах, Васильев! — ответил Крамской. — Это, батюшка,
такой феномен, какого еще не было на земле!.. Ю, вы по-
знакомьтесь с ним хорошенько, рекомендую — талант! Да
ведь какой талант! И вообще я такой одаренной природы
еще не встречал: его можно сравнить с баснословным бога-
чом, который при этом щедр сказочно и бросает свои со-
кровища полной горстью направо, налево, не считая и даже
не ценя их...

Чудо-мальчик Васильев, так необыкновенно одаренный,
был тактичен и проницателен тоже не по летам.

Он пристально взглянул на меня.

— О, что это? Ты уже не вздумал ли надуться на меня
за мои же заботы о тебе!

И он опять весело расхохотался, блестя своими серыми
глазами как-то особенно ласково.

Я невольно сдаюсь.

— Да ведь ты знаешь, что я не имею средств разъез-
жать по Волге, к чему же и раздраживать напрасно и выби-
вать из колеи? — уже смягчаясь, рассуждаю я.

— Средства?! А сколько тебе средств понадобилось бы?
Ну, душенька, не серьезничай, давай считать...

— Ведь ты же знаешь, что со мной еще брат живет и
его пришлось бы взять.. Ведь это — на три месяца! Двоим
двести рублей, не меньше понадобилось бы... Да, одним
словом, давай говорить о другом...

— Что ты, что ты! — уже делаясь каким-то необыкно-
венно влиятельным лицом, произносит докторально Василь-
ев. — Слушай серьезно: вот, не сойди я с этого ме-
ста, — прожаргонил он комично, — через две недели я до-
стану тебе двести рублей. Собирайся, не откладывай, го-
товься, и брат твой, этот мальчик, нам пригодится. Все
же, знаешь, в неизвестном краю лучше, когда нас будет
больше.

А я до такой степени вдруг возмутился Васильевым,
что даже обрадовался его скорому уходу: он всегда куда-
то спешил, ему нигде не сиделось. Поднявшись, он про-
должал:

— Да только, знаешь ли, ты остригись, — он остановил-
ся в передней и отечески мягко стал назидать меня, — будь
приличным молодым человеком. Ну, как тебе не совестно за-
пускать такие патлы? Ведь это ужас, как деревенский

дьячок!.. Ах, да, художник! Вот я ненавижу этих Худояровых и tutti quanti¹. Эти длиннополые шляпы, волосы до плеч, опошлевшая гадость! Меня разбирает такое зло и смех, когда я гляжу на этих печатных художников, такая вывеска бездарности...

Васильев меня уже раздражал этой своею развязностью большого и становился все неприятнее.

В передней он кокетливо, перед зеркалом, не торопясь, надел блестящий цилиндр на свою прическу, — сейчас от парикмахера, — все платье на нём было модное, с иголочки, и сидело, как на модной картинке.

— А меня удивляет твой шик, — говорю я уж не без злобы, — я вот презираю франтовство и франтов...

— Ну, не сердись, не сердись, Илюха! Верь, что через два месяца ты сам наденешь такой же цилиндр и все прочее и будешь милым кавалером... Ах, уже эти мне Шананы... Ну, прощай и помни обо мне! Через две недели я буду у тебя с возможностями, а через три — мы катим по Волге... А!? Ты только подумай! Ты увидишь настоящих бурлаков!!! А?! Адьё, мон шер².

«Это уже какое-то нахальство. Хлестаков! — подумал я. — Как малого ребенка, он ублажает и туманит меня. Но этого я уже и не ждал: смешон и не замечает, как пересаливает. Конечно, это он слышал какого-нибудь важного барина; тот таким же покровителем, вероятно, вытаскивал его из бедных, и он туда же! Вот хлыщ!.. А Крамской?.. Неужели он так ослеплен, что не видит этого хвастуна?»

Надо расспросить серьезно.

— Ого! Федор Александрович пообещал вам свою протекцию! — отвечал весело и серьёзно Крамской. — Можете быть уверены, что он это сделает. У него есть большой покровитель, граф Строганов³: это рука-владыка в Обществе поощрения художеств; а главную действующую роль как исполнитель тут, разумеется, сыграет Д. В. Григорович⁴.

¹ Tutti quanti (итал.) — все прочие.

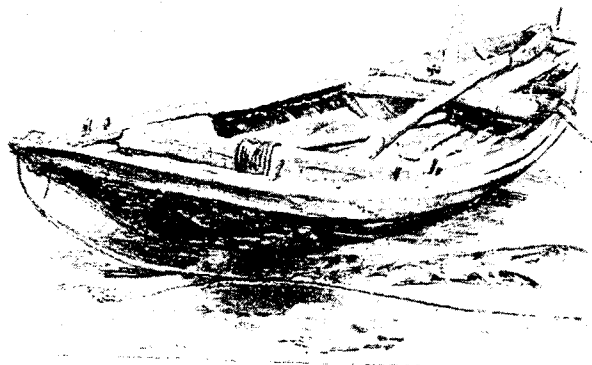
² Adie t, mon cher (франц.) — Прощай, мой дорогой.

³ Сергей Григорьевич Строганов (1794—1882) — известный деятель русского просвещения и художественного образования, учредитель Строгановского художественно-промышленного училища в Москве.

⁴ Писатель Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1899), автор знаменитых повестей из крестьянского быта «Антон Горемыка» и «Деревня», был знатоком изобразительных искусств и, начиная с 1864 года, занимал должность секретаря Общества поощрения художеств.

Этот тоже души не чает в Васильеве; они его в последнее время совсем избаловали даже, но Васильев этого стоит.

«Посмотрим, посмотрим», — думал я про себя и не переставал сомневаться.



Завозня



Жигули

III

СБОРЫ НА ВОЛГУ

Но через две недели дверь ко мне особенно энергично распахнулась, и Васильев, в героической позе герольда, подняв высоко белую бумагу, весело смеялся своими крепкими зубами.

— Получай, кавалер! Вот тебе талон на двести рублей. А, что? Я прав! Ну, теперь — сборы.

Он рассказал, какого удобного фасона он купил себе длинный узкий сундук, и прочитал целый список закупок, — что еще, как он думал, необходимо требовалось ему и нам.

Тут были и хлысты, и краги для верховой езды, и одна-две пары лайковых перчаток, и дюжина галстуков — всего не перечесать; бельем он был раньше обеспечен; духи, мыла, одеколоны, дезинфекционные снадобья, дорожная аптечка, спирт, надувные подушки и прочее и прочее. Я впал в

рассеянность, решив про себя, что этого мне ничего не надо.

Вечером я опять у Крамского.

— О, какой вы скептик; но вы решительно, вижу я, не знаете Васильева. Видели ли вы его работы.

— Нет,— отвечаю я.— А где их можно видеть? И что он сделал? Ведь, он же и в Академию еще не поступил...

Крамской оставил на меня свои пронизательные серые глаза.

— Если это не ирония, и вы изрекаете правду, как думаете, то... — он развел руками.— Да вы поскорей должны посмотреть работы Федора Александровича. А что он не был в Академии художеств, так в этом, может быть, и есть его счастье. Но он имеет превосходного руководителя в Шишкине.

В Семнадцатой линии Васильевского острова, в маленьком, одноэтажном, низеньком домике — семейной собственности Васильевых — я застал Васильева за работой. В самой лучшей, самой большой и все же очень маленькой (сравнительно) комнатке в два окна у него стояло две вещицы на дрянных треножках-мольбертах.

Я зашел от света, чтобы видеть картинки, и онемел: картинки меня ошарашили... Я удивился до полной сконуженности...

— Скажи, ради бога, да где же ты так преуспел? — лепечу я.— Неужели это ты сам написал?! Ну, не ожидал я!..

— «Благодарю, не ожидал!» — весело засмеялся Васильев.— А учитель, брат, у меня превосходный: Иван Иванович Шишкин, прибавь еще всю Кушелевку¹ и уж, конечно, самую великую учительницу: натуру, натуру! А Крамской чего стоит?

— Небо-то! Небо!.. — начинаю я восторгаться.— Как же это? Неужели это без природы?.. Я никогда еще не видывал так дивно вылепленных облаков, и как они освещены!!! Да и все это как-то совершенно по-новому...

Васильев приблизился к мольберту.

— А? Эти кумулюсы?² А они мне не нравятся. Я все бьюсь, ищу... — Он присел бочком к мольберту, взял стальной шпатель и вдруг без всякой жалости начал срезывать великолепную купу облаков над водою...

¹ Кушелевскую галерею в Академии художеств.

² Купы облаков.

— Ах, что ты делаешь!.. Разве можно губить такую прелесть!

Но он уже работал тонкой кистью по снятому месту, и новый мотив неба жизненно трепетал уже у него на холсте... Я остолбенел от восхищения...

А это? — Висела еще картинка: изображалась целая стена темной высокой груши малороссийского типа. Картинка была напитана горячим солнцем,— кое-где на переднем заборчике сохло вымытое белье разных цветов...

— Вот оригинально: так темно и так солнечно,— удивляюсь я,— всякий тут пересолил бы белилами. Как это ты справляешься с небом такими маленькими кистями?

— О, я всегда работаю маленькими, колонковыми: ими так хорошо лепить и рисовать формочки... А мазать квачами, как заборы, такая гадость, ненавижу мазню... Хорошо ты сделал, что зашел ко мне; я сам намеревался зайти к тебе. К тебе есть два дела, два вопроса, выражаясь высоким слогом, и эти дела должен сделать ты. Ну, уж ты, пожалуйста, не прикидывайся недорослем, возьми в обе руки свое внимание и внимай: ты хорош с Исеевым, и Академия, то есть он, Исеев, тобою дорожит... Пожалуйста, не приподнимай так бровей и не прикрывайся личиной идиота. Знаем, брат, про тебя, все знаем, но не в этом дело. Иди ты к Исееву и проси, чтобы он похлопотал нам даровой проезд по Волге, у него есть рука в компании «Самолет», понял? Это часть официальная; а вот часть, так сказать, семейная: хорошо бы нам взять еще четвертого... Ах, вот идет четвертый. Ну, ну, Роман, держись крепче, не шатайся!

Из другой комнаты вышел начинающий ходить мальчик и храбро направился к Васильеву.

— Это мой брат — Роман, которого я люблю больше всей жизни. Только он один мог бы остановить меня теперь в моем решении ехать на Волгу. Ну, поверишь ли, я его так люблю! Так люблю... Ну, милый Рома, иди, иди ко мне, ну, ну... ах, ты мое сокровище! — Он взял его на руки и уселся на стул. — Ах, да, с Романом я все забываю... Так вот, имеешь ли ты кого на примете четвертым в нашу компанию?

— Вот не думал,— отвечал я в раздумьи,— разве Кириллыча? ¹

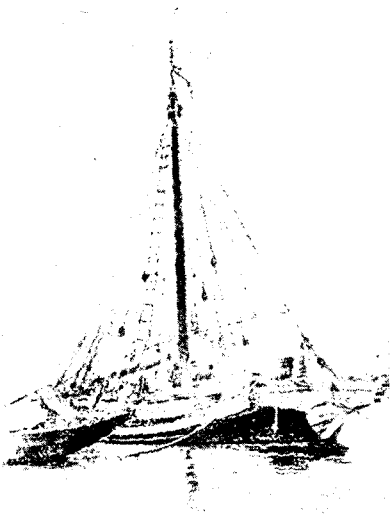
— Ха-ха ха! — весело взорвался он от неожиданности. Вот одолжил! Благодарю, не ожидал! Ох, но этот столб

¹ Художника Е. К. Макарова.

миргородского повета не поедет. Куда ему! Вот смех! И как это ты выговорил его имя?

— Да, ведь, он очень просится ехать с нами, очень желает.

Берем, берем! «Благодарю, не ожидал!» — шутил уже Васильев нараспев.



Тихвинка



Рыбинск

IV

П. Ф. ИСЕЕВ

Всемогущий конференц-секретарь императорской Академии художеств был тогда во всей силе. Ко мне он благоволил особенно после моего бунта, о котором надо рассказать.

По уставу Академии художеств 1859 года при Академии был научный курс, растянутый на шесть лет. Кроме специальных предметов, проходились и некоторые элементарные, — физика, часть химии, всеобщая история, русская словесность (входила психология), история церкви, закон божий и еще что-то — по две лекции в день: утром от половины восьмого до девяти с половиной и днем от трех до четырех с половиной. Считалось три курса, так как каждый курс шел два года.

Ученики, даже самые прилежные к науке, в продолжение первых двух курсов в четыре года так перетягивались в сторону искусства, что обыкновенно третий и четвертый курсы все редели, пустели, и инспекции надо было принимать меры к понуканию учеников посещать лекции и являться на экзамены. Разумеется, единственная строгая мера — исключение из списка учеников.

После каникул вывешивался список имен переведенных в число вольнослушателей за неявку на экзамены.

Осенью товарищи сообщили мне, что я в числе исключенных учеников.

Морально я уже давно был готов к выходу из Академии. И общественное мнение, и особенно Крамской, и все его товарищи, и артельщики советовали мне бросить курсы и становиться на собственные ноги.

Академия художеств была тогда немало порицаема и осмеяна нашей журналистикой; лучшие силы молодежи не доучивались и бросали ее. За тринадцатую знаменитыми артельщиками тянулись нередко. Еще недавно бросили конкурсы: Максимов, Бобров, особенно Бобров; этого корифея звали будущим Рембрандтом, а он вдруг оставил Академию, будучи уже на положении программиста (мастерская, стипендия пятнадцать рублей в месяц и казенная натура).

Перед наукой я благоговел, в течение четырех лет курсы посещал усердно, экзамены сдавал хорошо, но на пятом году, как только я получил мастерскую и стал готовиться к программе, я вдруг «пристал», как говорят о лошадке, выбившейся из сил...

Увидев своими глазами, что я исключен из списка учеников, я вскипел и написал в Совет прошение. Ядовито указывал я Совету на его пристрастие к элементарной грамоте не по своей специальности и компетенции, а в заключение просил уволить меня совсем из Академии художеств, удостоив званием «свободного художника», — я имел уже пять серебряных медалей, следовательно, имел на это право. Я закончил свое прошение словами, что не намерен дольше оставаться в Академии художеств, где успехи в искусстве измеряются посредственными познаниями учебников... что-то в этом роде.

Прошение следовало подать конференц-секретарю Исееву лично.

Петр Федорович Исеев был похож лицом и фигурой на Наполеона; он был очень умен и проницателен. Академия художеств была в полном его ведении, и он очень озабочен был борьбою с «Артелью художников». В моем поступке ему чудилась интрига артели (он знал, что я вхож туда).

Пробежав быстро мое прошение, он беспокожно смерил меня взглядом.

— Что это вы, Репин! Ведь, это вас настроили! Как это возможно! Ну, дадут вам звание, и что же?

— Да мне больше ничего и не надо, — скромно, но твердо поясняю я.

— Какой все это вздор! И великий князь, и Совет решили уже, что вы поедете за границу на казенный счет...

Ах, да что тратить слова, вот вам ваше прошение! — Он разорвал его на четыре части и бросил в корзинку. — Ручаюсь вам: исключены из списка учеников вы не будете, и вы должны окончить Академию как следует: для кого же тогда ей существовать?!

Так было за год до наших сборов на Волгу. Разумеется, Исеев устроил нам даровой проезд по Волге: он дал мне письмо к секретарю «Цесаревны» в Аничков дворец, и нас снабдили открытым листом общества «Самолет» от Твери до Саратова, как мы просили.

Петр Федорович Исеев был очень добр ко мне, и я всегда вспоминаю его с большою благодарностью... А как умен был этот администратор, каким гипнотизирующим влиянием обладал он в бюрократической сфере: даже сосланный в Сибирь — и оттуда он долго посылал сюда, в сферы, руководящие указания по поводу выбора лиц и принятия мер. Как странно, однако, что его, даже много лет спустя, не коснулась ни одна амнистия!

А я, будучи еще учеником, адресовался к нему однажды с гораздо более рискованной просьбою от всех товарищей и имел плодотворный успех. Это тоже следует здесь занести в летописи академической молодежи.

В середине шестидесятых годов и у нас, в ошарпанных еще до Исеева коридорах Академии художеств, и в беднейших трущобах ученических вольных квартир начали бурлить водовороты социалистических ключей из недр общего настроения тогдашней подземной океан-реки. Товарищи хотели устроить кассу взаимопомощи учеников Академии художеств. Гравер Паназеров (кривым выбритым черепом, низко надвинувшимся ему на маленькие татарские глазки, широким ртом и большими ушами похожий на острожника, но добрый вятч, земляк В. Васнецова) был инициатором проекта; у него на квартире тайно собиралось много товарищей, тайно побывал и я.

В его двух комнатах было так накурено, стояла такая убийственная духота, несмотря на отворенные окна и холодную октябрьскую ночь, толпа так как-то робко бродила, не останавливаясь и не садясь, — не на чем было, — что о правильном собрании нельзя было и думать. Расспросивши еще в стенах Академии Паназерова, я видел, что ничего противозаконного, страшного в этом нелегальном скопище нет, и теперь предложил заправилам обратиться к начальству Академии художеств и просить разрешения отвести нам раз в неделю какой-нибудь класс для выработки устава кассы и ее операций.

На меня подозрительно посмотрели левые друзья Паназерова. «Ого?! Кто это предлагает? А кто это донесет начальству?! Да, ведь, прогонят! К чему же и разводить это предательство? К чему усложнять дело такой ерундой?!» — Шум поднялся до стуков стульями и палками.

Но в конце спелись, и так как дело считалось почти погибшим, то мне, как виновнику предложения, было поручено лично идти к Исееву и доложить ему устав, уже сформированный вчерне тайными собраниями товарищей.

— Как хорошо вы сделали, что пришли с этим прямо ко мне,— сказал Петр Федорович без всякого удивления, как будто ждал меня. — Знаете, я все время сам думал об этом и сам хотел предложить ученикам основать кассу взаимопомощи. Уставчик я просмотрю потом. Но вот условие: на заседаниях учеников будет, в качестве товарища председателя, присутствовать помощник инспектора, наш милый Павел Васильевич Черкасов; его все знают, и ученики его очень любят.

Судьба избаловала меня славой не по заслугам. Так было и с кассой. Когда я пришел на первое заседание, П. В. Черкасов сидел уже на месте и балагурил с учениками. При виде меня он громко произнес: «А вот он, наш Рошфор»¹, — и ученики встретили меня громкими дружными аплодисментами и впоследствии считали меня инициатором кассы, а про Паназерова совсем забыли.

Касса эта существует и доднесь.

Петр Федорович понемногу привязывался к Академии художеств. Учеников считал близкими, следил за их работами и сам поддерживал их заказами и покупками ученических проб, разумеется, у наиболее выдающихся. Это во все не предосудительно. Так и я лично был поддержан им в очень трудные минуты жизни.

Я очень бедствовал и придумывал разные способы для продления своего существования. До поступления П. Ф. Исеева, имея уже несколько серебряных медалей, я обращался с прошениями в Академию художеств на имя князя Гагарина (вице-президента Академии художеств) и о пособии, и о стипендии,— но без успеха. Делопроизводитель Зворский, с лицом самого святого постника, казалось, потемневшим от необыкновенной сдержанности, задушевно, даже упавшим голосом, приподняв брови, кротко отвечал мне одним словом: «Отказано».

¹ *Рошфор Виктор Анри* (1830—1913) — французский публицист и политический деятель.

Он был корректным исполнителем, и мне было очень жаль его, что он в такой несимпатичной роли.

Я даже подумывал предложить себя в натурщики Академии: пятнадцать рублей в месяц и казенная квартира в подвалах Академии казались мне завидным обеспечением. У натурщиков много свободного времени, и они зарабатывают еще на стороне, следовательно, можно учиться. Но товарищи, которым я сообщал о своем намерении, смеялись, покачивая головами; а Антокольский даже строго, с грустью осудил меня.

Профессора не касались нас, инспектор К. М. Шрейнер, видимо, избегал. И вот Исеев — первое начальственное лицо, которое не боится даже говорить с нами. Каждое утро скромно в каком-то сером пальтишке этот приземистый человек обходил все закоулки авгиевых стойл нашего старого, запущенного здания, и везде начинались ремонты и улучшения. По Кушелевской галлерее, недавно только размещенной в тех же, что и сейчас, залах, он также проходил в одни и те же часы и подолгу простаивал за моей спиной. Я копировал «Славонца» Галле. Скромно, с большим достоинством он одобрял мою работу.

Понемногу я стал привыкать к его визитам в Кушелевку. Я вообще очень люблю умные лица. Его простота и пронизательность расположили меня настолько, что я решил попытаться еще раз счастья просьбою о пособии.

— А разве вы нуждаетесь? — тихо спросил он. — А эту копию вы делаете по заказу?

— Нет, — отвечал я.

— В таком случае я ее у вас покупаю; она, кажется, уже совсем готова? Как кончите, пришлите мне ее со служителем и придите получить плату; надеюсь, она не разорит меня, картина мне очень нравится. Этого «Славонца» многие копируют, но ваша копия — лучшая из тех, что я видел здесь.

Глаза наши с симпатией встретились, я почувствовал в нем друга, не начальство.

Так и на Волге Исеев могущественно выручил нас из грубых тисков местной полиции, но об этом речь впереди.

Игривые предначертания Федора Александровича Васильева исполнялись с точностью: через три недели мы уже ползли по Волге, от самой Твери, на плоскодонных пароходиках компании «Самолет» и были в безумном упоении от всего. Возникло это празднество жизни у нас еще с самого начала сборов, как только я сделался владельцем никогда раньше не бывшего у меня капитала в двести рублей. Сна-

чала по авторитетным доводам Васильева было закуплено все самое необходимое, например, надувные гуттаперчевые подушки, оказавшиеся совершенно невозможными, по своей ласке булыжника; да и столько времени надо было их надувать, и как долго мы страдали, приспособляясь то к большей, то к минимальной надутости их пустого нутра.

Самую большую тяжесть в моем чемодане составляли спиртовки, кастрюли и закупленные в достаточном количестве макароны, сушки, рис и бисквиты «Альберт». Мы ехали в дикую, совершенно не известную миру область Волги, где, конечно, ничего подобного еще не знали...

У брата моего была несокрушимая и незаглушимая ничем страсть к музыке. В Чугуеве он овладел в совершенстве только хохлацкою сопилкою и не расставался с нею ни в Петербурге, ни на станции Марьино (близ Харькова), где он служил телеграфистом. Во время сборов в дорогу он сказал, что ему недостает только флейты для полного счастья. Флейта была куплена, и теперь на Волге, на палубе парохода, он часто уподоблялся Орфею, которого слушали все, особенно третьеклассные пассажиры и куры, которых щедро кормил повар на зарез. Я немало дивился, как скоро мой Вася освоился с заправским инструментом и как гармонически-бесподобно шли звуки флейты к широким водным и пустынным пространствам. И мы слушали его, забываясь, под шум колес плоскодонной нашей посуды, как называют на Волге пловучее сооружение: расшиву, беляну, тихвинку, косовушку, завозню и т. п.



Нижний-Новгород

V

ПУТЕШЕСТВИЕ

Евгений Кириллович Макаров¹, при всей своей серьезности, против собственной воли оказался бесконечно комичным.

Он, как столбовой дворянин Миргорода, достойно представлял честь своего сословия и был одет лучше нас: даже цилиндр на голове. Сапоги его сияли идеальной чернотой, воротнички — белизной; все вещи у него были особенной добротности; шутить он не любил. Шутливость всецело принадлежала Васильеву, он превосходил всех нас. И чем серьезнее старался быть Кириллыч, тем более густым взрывом общего хохота завершался финал его чопорности, и, ослабив толстые хохлацкие губы, он и сам добродушно присоединялся ко всем. Особенную свою гордость — свои

¹ Макаров Евгений Кириллович (1842—1884) — товарищ Репина по Академии художеств, куда он поступил в 1860 году. В 1869 году получил первую золотую медаль за конкурсную работу на тот же сюжет, что и Репин — «Воскрешение дочери Иаира». Впоследствии занялся преподаванием рисования и живописи в рисовальной школе Общества поощрения художеств.

чистейшие рукавички — он даже не мог скрыть, и они послужили надолго предметом неудержимого смеха Архипа Ивановича Куинджи¹.

Однажды они с Макаровым и Кившенко² пробирались на лодке по отмелям Петровского острова. Куинджи отличался физической силой, но был с ленцой. Лодка села на мель. Макаров и Кившенко выбивались из сил, чтобы сдвинуть лодку. Наконец, ленивый Пацюк³ Куинджи, призываемый товарищами, встал и пошел к борту, взял весло, уперся в берег и так двинул лодку с досады, что Кириллыч опрокинулся навзничь через борт лодки в воду... Ужас, не правда ли? Но вдруг раздался густой хохот Архипа: Макаров был в воде весь, и только рукавички его с руками молили о помощи... В самую опасную минуту жизни он подумал о чистоте своих рукавичков.

В верховьях Волги — мы начали ее от Твери — плоскодонцы наши ползли черепашым шагом; мы перезнакомились со всеми дельцами: прасолами, рядчиками, купцами, поверенными и разными прожектёрами Севера. Особенно много мы играли в шахматы; и тут нередко попадали на настоящих, заправских игроков-теоретиков и были убийственно сконфужены простоватыми на вид провинциалами. По приказу Васильева мы были острижены под гребенку, — «номеров» тогда не существовало, — имея «чудной» вид («чудной, а еще не стриженный» — пословица). И это сначала заставляло степенных торговцев, особенно из староверов, сторониться нас; но Васильев был так очаровательно общителен, а брат мой еще так провинциально-бесхитростно откровенен, что к нам скоро привыкали и от скуки льнули, как мухи. Самый общий успех наш был на палубе. Там за нашими спинами всегда стояла гуща зрителей и громко разъясняла наши рисовальные намерения; деловито, наскоро расспрашивали нас, и быстро водворялась наша известность: в «посуде» мы становились своими.

Но не всегда же мы были с альбомчиками! Васильев был завзятый, страстный охотник; он часто вытаскивал на палубу свою дорогую, превосходную двустволку и до чор-

¹ Куинджи Архип Иванович (1842—1910) — впоследствии знаменитый пейзажист, автор картин «Ночь на Днепре» (в Русском музее) и «Березовая роща» (в Третьяковской галерее).

² Кившенко Александр Данилович (1851—1895) — впоследствии академик исторической живописи, автор картины «Военный совет в Филлах в 1812 году» (в Русском музее).

³ Пацюк — равнодушный и ленивый толстяк из повести Гоголя «Ночь перед Рождеством».

тиков увлекал публику охотничьими рассказами. У брата моего также было дешевенькое ружьишко, и он не расставался с ним, а на Васильева глядел, конечно, как на мага. Да и мы с Кириллычем, хоть и не имели ружей и были всецело верны только одному нашему искусству, а все же на этого чудо-мальчика, выскочку в нашей области, смотрели широко отверстыми от удивления глазами, забыв всякое самлюбие.

Он поражал нас на каждой мало-мальски интересной остановке. В продолжение десяти минут, если пароход стоял, его тонко заостренный карандаш с быстротой машинной швейной иглы черкал по маленькому листку его карманного альбомчика и обрисовывал верно и впечатлительно целую картину крутого берега с покривившимися над кручей домиками, заборчиками, чахлыми деревцами и остроконечными колокольнями вдали. Вот и дорожка вьется наверх, прерываясь осыпями и зелеными лопухами; все до самой нижней площадки, пристани с группами торговков под огромными зонтиками и деревянными навесами над своим скарбом,— все ловит магический карандаш Васильева: и фигурку на ходу, и лошадку на бегу, до самой команды парохода: «Отдай чалку!»

Пароход трогался, маг захлопывал альбомчик, который привычно нырял в его боковой карман... В первые разы мы давались диву. Особенно Кириллыч. Его изумленная, с проеденными на сладях зубами, озадаченная физиономия вопросительно уставляется на меня:

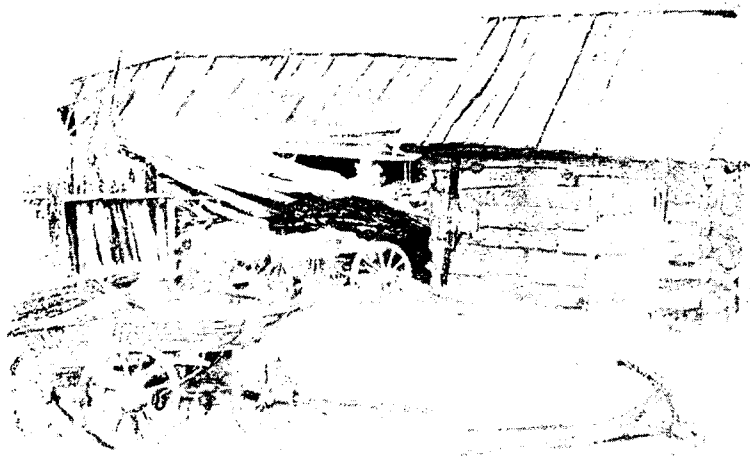
— О!! Ну, что ты скажешь? Вот чорт: я бы не успел и альбомчика удобно расставить... Вот тебе и Академия, вот и натурные классы, и профессора! Все к чорту пошло: вот художник, вот профессор... Талант, одно слово!

На языке Кириллыча это не была пустая фраза. Действительно, не прошло и недели, как мы взапуски рабски подражали Васильеву и до обожания верили ему. Этот живой блестящий пример исключал всякие споры и не допускал рассуждений; он был для всех нас превосходным учителем.

И учил он нас, хохоча над нашей дебелой отсталостью, радостно-любовно. Талант!

Евгений Кириллович некоторое время совсем не показывал своего альбома Васильеву, что называется, стыдился, и исчезал куда-нибудь в таинственные места.

Но вот, наконец, Кириллыч выползает откуда-то и, ухмыляясь лукаво, прячет от Васильева свой колоссальный альбом: он только что сидел со своей тяжелой ношей в



Двор Буянихи

трюме, где, облюбовав кого-то из лоцманов, предавался своему запово рыцарского рисования — без резинки.

— Ну, светик, не стыдись, чего кобенишься, как поповна в невестах, показывай,— ласкает его Васильев своим дружеским подтруниванием.

— Да, ведь, я не успел закончить,— ворчит Макаров,— его ызвали свистком... Э, чорт...

— Ну, ну, слышали. Давай, давай! А!.. А-а! А, ведь, недурно, смотри, Илья: ай да Кирюха!.. Но только зачем же весь рисунок точно в волосах? Волосы, волосы, волосы!

— Да понимаешь ли, я ищу, и при этом без резинки, да, хочу отучить себя от резинки,— бормочет, в глубине довольный собою, Кириллыч: он страстно любил свою работу.

— И надо острее чинить карандаш,— продолжает, не глядя на него, докторально Васильев.— Такая гадость эти слепые, вялые штрихи! И их совсем надо выбрасывать, особенно здесь в путешествиях. Ну, к чему эта скучная тусовка? Ведь, это надо хорошо фиксировать, а то все размажется. Иван Иванович Шишкин, бывало, в лето делал массу рисунков; фиксативом он их не хотел портить, тогда еще молоком фиксировали. Так вот, перед отъездом он

складывает все рисунки (у него они все одного размера) и по краям, без милосердия, приколачивает их насквозь гвоздями к доске: только это и спасает от размазни в дороге: по деревням, ведь, в телегах, без рессор. Альбом-то, альбом! Ну-ка дай... Ой-ой-ой, какая тяжесть! Ведь, под эту библию надо телегу запрягать.

Все вещи Макарова отличались особою добротностью и ценностью; туалетом своим он занимался очень долго, внимательно; и даже ворчал со стоном, если что-нибудь было в неисправности. Вещичку дешевого производства он отшвыривал с презрением и, если должен был ее надеть за неимением лучшей, с горечью вздыхал:

— Эх, чорт возьми, средств нет!.. Разве я носил бы эту гадость!

Ростом Макаров был выше всех; дородству его мешал разве смуглый цвет лица: даже руки его, особенно оттененные белизною рукавчиков, казались точно в перчатках цвета гаванн¹, тогда модного. В деревне впоследствии крестьяне считали его нашим начальником; там без начальства немислимо, а встречают по одежке.

Евгений Кириллович долго чистился, мылся и прихорашивался всякое утро до выхода на этюды. На руках рукавчики, а на ногах сапоги добавляли ему еще больше работы: надо было самому все чистить... С высокими голенищами охотничьи боты... Бывало, сбегашь на этюд восхода солнца, бежишь вприпрыжку к чаю, а он на крыльце все еще хокает на матовое пятно на голенище, не поддающееся полировке...

— Да, Макар — настоящий барин, а эти-то, может, из кантонистов, — разбирали нас по-своему обыватели Ширяева буерака, на Самарской луке.

Но ведь это я, по своей нетерпеливости, забежал вперед. А мы еще все пыхгим в верховье Волги и подъезжаем еще только к Плесам.

Была уже ночь, лунная, теплая, летняя. С Васильевым мы как-то спелись: быстро узнавали, долго ли стоит на пристани пароход, и сейчас же на берег, наверх, подалее, места смотреть.

Луна, как и искусство, очаровывает нас, обобщая формы, выбрасывая подробные детали. Много подробностей берет она в тени, много предметов заливают своим серебряным светом, и вот, может быть, самые пошлые днем места теперь кажутся необыкновенно таинственными. Был уже

¹ Гаванских сигар.



Деталь картины «Бурлаки на Волге»

второй час ночи; мирные обыватели спали с открытыми окнами; густые группы сирени пластично стояли в неподвижности и поили ароматом садики, спускавшиеся террасами к Волге. Еще какие-то цветущие фруктовые деревья, а это розы. И соловьи, соловьи.

— Посмотри, какие звезды! — говорит Васильев. — Бездонное небо и какая широта, туда вдаль, за Волгу! А над всем — творец... Помнишь «Якова Пасынкова»? Ах, отсюда необходимо зачертить этот мотив. Какая красота! Но вот досада, — вскрикивает он, — я забыл свой альбомчик...

— Возьми мой, — предлагаю я свой, — но неужели ты видишь при луне?

— Дай, дай! — и он быстро чертил и прекрасно зарисовал выступ садика над обрывом. Этот набросок есть у меня в альбомчике того времени.

После этого наброска на Васильева нашло какое-то вдохновение, та истинная поэзия чувства, которая даже не поддается никаким словам. Она выливалась у него в какой-то импровизации; это было стихотворение в прозе, мелодекламация под звуки соловьев и лай собак вдали о неobservable мире людей, погруженных в грезы сна... Его настроение передалось и мне, и я почувствовал, что мы будто летим над всем раскинувшимся и исчезающим под нами луговым пространством широкой Волги...

А ведь, это свисток нашей посуды!.. А мы забрались, кажется, очень далеко; уж не попробовать ли нам вернуться напрямик сюда?.. Через плетень.

И мы долго прыгивали разными темными обрывами и узкими переулками, перелезая через высокие плетни и заборчики, пока, наконец, успели к третьему звонку.

— Куда вы пропали? — сердито ворчит Кириллыч. — Капитан уже хотел отчаливать, и только я едва упробил... Публика ругается... Выдумали же в дороге исчезать ночью в незнакомом городе...

«Отдай чалку!» — слышится знакомый крик недовольного капитана. Мы едва успели перескочить трап. «Бух, бух, бух, бух», запенилась Волга; и мы уж с палубы не можем различать наши фантастичные высоты.

И пошли опять бесконечно долгие дни, безнадежно однообразные берега. Видел я и смешанные, коллективные усилия людей и скотов обоого пола, тянувших все те же невероятные по своей длине бечевы; группы этих бурлаков рисовались силуэтами над высокими обрывами и составляли унылый прибавок к весьма унылому пейзажу.

«Это запев «Камаринской» Глинки», — думалось мне.

И, действительно, характер берегов Волги на российском размахе ее протяжений дает образы для всех мотивов «Камаринской» с той же разработкой деталей в своей оркестровке. После бесконечно плавных и заунывных линий запевая вдруг выскочит дерзкий уступ, с какою-нибудь корявой растительностью, разобьет тягучесть неволи свободным скачком, и опять тягота без конца... В то время я любил музыку больше всех искусств, пробирался на хоры в концерты Дворянского собрания и потому и здесь к необычным, широким видам применял музыкальные темы.

Васильев был необыкновенно музыкальная натура; он превосходно насвистывал лучшие места знакомой музыки.

Макаров любил только живопись. Он увлекался до желания копировать каждую выдающуюся вещь. Его заветною мечтою было скопировать «Явление Христа народу» Иванова.

Эта идея была для него Меккой магометанина. Копировал он дивно, с такой точностью, так тонко и любовно, что его копии нравились мне более оригиналов. Я очень жалею, что ему не удалось скопировать гениальное произведение нашего великого аскета римского¹. Мы имели бы повторение, и какое!

Да, искусство только и вечно и драгоценно любовью художника. Вот, например, по заказу Д. В. Стасова, Серов, еще будучи мальчиком, скопировал у меня в Москве «Патриарха Никона» В. Г. Шварца, и эта копия исполнена лучше оригинала, потому что Серов любил искусство больше, чем Шварц, и кисть его более художественна.

На всех берегах Волги, то есть особенно на пристанях, мы выбирали уже лучшие места, чтобы остановиться поработать на все лето. Расспрашивали бывалых. И нам дальше Саратова плыть не советовали: там-де скучные и однообразные места пойдут, пространства широкие, берега расползаются по песчаным отмелям, совсем теряются.

— Лучше всего Жигули,— говорили все в один голос.

Неужели лучше Нижнего-Новгорода? Этот царственно поставленный над всем востоком России город совсем закружил наши головы. Как упонительны его необозримые дали! Мы захлебывались от восхищения ими, и перед нашими глазами вставала живая история старой Руси, люди которой, эти сильные люди хорошей породы, так умели ценить жизнь, ее теплоту и художественность. Эти не любили хелиться где-нибудь и как-нибудь.

¹ А. А. Иванова.



Лодка

Против самой лучшей точки Жигулей, по нашим вкусам, стоит на плоском берегу Ставрополь Самарский. На обратном пути из Саратова мы и решили остановиться там и пожить, осмотреться. В Саратове мы не покинули кают нашего «Самолета». Он, простояв трое суток, шел обратно вверх до Нижнего-Новгорода.

И вот на пристани Ставрополь мы впервые высадились в неизвестной стране — «на Волге». До города верст пять по луговой отмели лихие воровского вида извозчики с веревочной упряжью, топорными тележками катили нас на паре, как сумасшедшие. Усевшись попарно, третьего извозчика мы взяли для вещей и старались не упускать из виду своих сундуков и чемоданов. С запасами на все лето они казались внушительными для захолустных оборвышей.

— А есть ли в Ставрополе хорошая гостиница? — спрашиваем мы нашего сорванца, когда, выбираясь из высохшего русла половодий, он уже потише взбирался на горку.

— А как не быть? Только, ведь, в гостинице дорого... А вы надолго в городе остановитесь?

— Да, может быть, недели на две; а не знаешь ли ты квартирки вольной, где бы мы могли пожить, чтобы нам и пищу готовили?

— А, как же, да вот хоть бы у Буянихи две хорошие чистые комнаты, и готовить может.

Вечером и в сумерках становилось жутко. По руслу мы ехали, как в канале, — ничего не видно за пригорками... А это что? Как будто скелет какого-нибудь допотопного ихтиозавра раскинулся чуть не на сто сажений, вон куда мы должны его объезжать, а толщина! За ним ничего не видно: две-три лошади, одну на другую поставь, и то не заглянешь. Вот чудо!

— Что это такое?

— А это осокорь¹, стало быть, льдом его сбило, да уж давно; видите, какой беленький: вода всякую половодь его промывает, а годков полтораста постоял.

Обогнули — опять на дороге. Вот и стоячие осокори стали попадаться, сырые, у этих только белые низы, пока лед поднимался и обглодал их, да на нижних выступях нацеплялась масса пловучего хвороста и бурьяна.

Темнело и все жутче становилось. Куда мы едем и что найдем?

— Как же это? Говорил, версты три, а мы, кажется, уже верст семь едем, — тихонько ворчали мы, не без страха думая, что везет он нас куда-нибудь к разбойникам. — А еще далеко?

— Да уже близехонько: вот за тем косогорьем и город будет виден.

И он опять быстро покатил между обшарпанными кустами по извилистой дороге... Страшно... Куда-то он нас завезет? Ах, слава богу, город виден! И мы радовались уже и скучным плетням, и пошлым заборам; кое-где зажигались огоньки.

— К Буянихе! — громко крикнул извозчик товарищу впереди с сундуками. — Прямо, стало быть, на двор к ней.

Вот он. Двор разгороженный, крыльцо с проломами, воротники настезь, двери не затворяются. Сумерки. Вдали полураздетая дева мелькнула и исчезла. На соседнем крыльце другой половины домика какой-то усатый субъект рассматривал большой пистолет... Дальше еще кто-то. К нам, болтая толстым животом, спешила приземистая старушка.

— Пожалуйте, пожалуйте!

Голос добрый, но, ведь, край-то неизвестный, дикий...

— Вот, вот сюда!

Комната в три окна и к ней — еще другая, поменьше. Я попробовал после: ни одно окно не закрывается.

На нас все глядели испуганно, это чувствовалось.

Ложась спать, мы загородили всякое окно баррикадами, на случай, если бы разбойники полезли к нам...

Вышел анекдот: мы спали с дороги, как убитые, а хозяевам мы, гладко стриженные, показались беглыми арестантами. Они со страху даже пригласили соседа, старого солдата с кремненным пистолетом, и не спали всю ночь, прислушиваясь у наших дверей...

Мы прожили здесь полмесяца, уже не затворяя ни две-

¹ Осокорь — тополь.

рей, ни наших сундуков. Хозяйка, с такими огромными грудями, что мы прозвали ее «балакирь» (так называют на всем Поволжье кувшин для молока), оказалась добрейшим существом.

Она кормила нас на убой, вкусно, и так дешево стоила вся приносимая ею с базара нам провизия, что, после ее вздохов и охов о дороговизне всего, мы едва-едва могли удержаться, чтобы не прыснуть со смеху от этой баснословной дешевизны. Но мы строго считали сдачу и делали серьезный вид, пока наша Балакирь была здесь, и только по выходе ее раздражались неудержимым хохотом от этой захолустной цены на продукты.

Ставрополь (Самарской губернии) стоит очень красиво на луговой стороне, против Жигулей. Мы сторговали лодку на неделю и каждый день с утра переезжали на ту сторону к жигулевским высотам и исчезали там в непроходимом, вековечном лесу.

С Волги лес этот казался плотным и зеленым, уходящим в небо, и только вблизи, в его темных глубинах, делалось страшно карабкаться по скалам, чтобы взобраться куда-нибудь вверх, откуда на обе стороны степей открывались необозримые пространства и зеленое море густого леса кленов, ясеней, дубов и прочих деревьев, прямо перед нами раскатывавшегося волнами и целыми необъятными долинами между гор.

Вот парит большой коршун в голубой дымке прозрачного воздуха над лесом... Васильев — о преступная страсть охотника! — мигом умело вскидывает к плечу двустволку. Грянул выстрел и стал повторяться сказочным эхом от всех далеких гор, так правильно отделенных от нас воздушной перспективой. Дрогнув коршун в воздухе и сначала криво, а потом быстро, как пуля, засвистел к вершинам деревьев ниже нас. Мы старались заметить место, чтобы поднять его в лесу, но, слезая со скал, так запутались между громадными деревьями и густыми кустами орешника, что едва-едва выбились уж к берегу Волги...

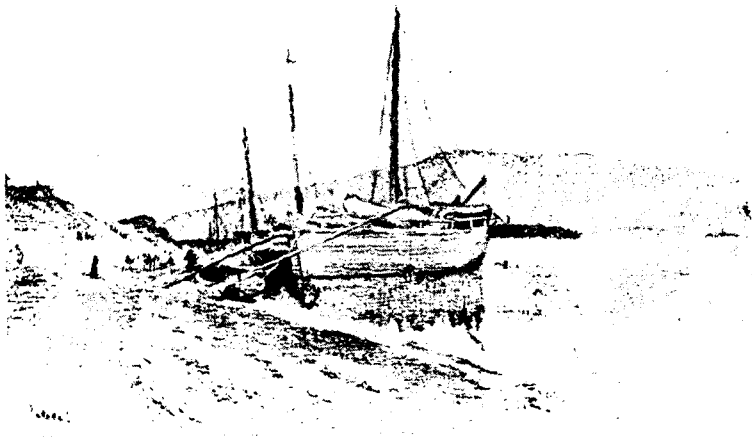
Что всего поразительнее на Волге, это пространства. Никакие наши альбомы не вмещали непривычного кругозора.

Еще с середины реки или с парохода видишь на гористой стороне по световой полоске каких-то комаров; боже, да, ведь они шевелятся и едва-едва движутся вперед.... А это что за волосок тянется к нам?! Да, ведь, это же бурлаки тянут барку бечевой по берегу гористой стороны. Подъезжаем: светлая полоска оказывается огромным отлогим

возвышением до леса, сплошь покрытым и изрытым глыбами светлого известняка, песчаника и гранита, наваленного острыми, неперелазных размеров обломками верхних скал в лесу. Ну, и утомительно же в этой природе, где, кажется, еще не ступала ни одна человеческая нога.

Но какая чистота воздуха! Нам уже хочется есть. А не пора ли нам к обеду? Балакирь теперь сокрушается, что у нее все перепреет. Я стараюсь подладиться под Васильева, чтобы грести дружнее.

Песчаный берег Ставрополя так живописен. Сюда съезжается много барок со всякими продуктами; здесь хозяева развешивают паруса на солнце и раскладывают товар. Поливанные горшки и миски чередуются с таранью — воблой поволжски, — а там новые колеса, дуги и прочие вещи житейского обихода. Подальше, на песчаном пороге, сделанном половодьем при спаде вод, сидят рыбаки с сетями, кто чинит, кто заряжает крючки червяками, словом, всяк у своего дела. И мы не можем утерпеть: вынимаем свои альбомчики и начинаем зарисовывать лодки, завозни, косовухи и рыбаков. Все это дивно живописно, только фоны не даются нам: их не вместят никакие размеры...



Базар в Ставрополе

VI

ПЕРЕЕЗД

К Ставрополю мы стали привыкать и забыли о намеченных впереди местах, по их красоте выбранных нами для остановки.

Обыватели Ставрополя нас приметили и считали за землемеров. Увидев нас рисующими, проходящий прасол изрек эпически, нараспев: «По Волге, по реке».

Местный мещанин обратился к нему с расспросами.

— Планиду списывают, — объяснил он с важностью, а потом обратился к нам:

— А и трудная тоже ваша должность: по каким горам лазите! А много ли вы жалованья получаете?

— Мы еще учимся, — ответил кто-то из нас.

— Учитесь, а-а!.. Стало быть, из кантонистов¹ будут, — пояснил он товарищу.

¹ Учеников низшей военной школы.

Нам надо было еще спуститься верст шестьдесят по течению, чтобы посмотреть окрестности намеченных нами мест, нанять избу на все лето и переезжать. Васильев заботился и торопил.

В Ширяево решено было съездить Васильеву и мне.

Было начало июня. Погода стояла дивная. Мы наняли лодку с двумя гребцами: спустить нас до Ширяева, против Царева кургана, откуда мы намеревались вернуться на пароходе.

Выехали мы с восходом солнца, часа в четыре, — рыбаки просили не опоздать, чтобы днем, в самую припеку, им отдохнуть часа два. Какой был восход! Мы пришли к лодке раньше гребцов, сидя, восхищались тем, как постепенно светлела и расцветивалась природа, особенно небо... Как мы жалеем всех интеллигентов, которые никогда почти не видят восходов. Когда взошло и блеснуло солнце, то все потемнело, и глазам стало больно: пошли разноцветные круги...

Течение Волги довольно быстрое, гребцы наши — мужики здоровые, а все же шестьдесят верст тянулись долго, долго. Стало сильно припекать и клонить ко сну...

Но вот и Моркваша. День воскресный, на берегу — прибрежные, они любят Волгу и каждую свободную минуту высыпают на берег.

Нас обступили. Какой красивый, дородный народ! Высокие цилиндры-гречневники с большим перехватом посередине так к ним идут! И откуда у них такая независимость, мажорность в разговоре? И эта осанка, полная достоинства? Как ни станет мужик — все красиво. И бабы подходят. Тоже — княжны какие-то по складу: рослые, красивые, смелые. Всем здесь говорят «ты» обыватели, и за этим чувствуется равенство.

Никакого подхалимства, никакой замашки услужить господам, словом, никакого холопства.

— А что, господа, верно, к мировому приехали? Отсюда недалеко квартира — вон в том доме, там и дощечка прибитая...

— А что, в самом деле, — шепчет мне Васильев, — зайдём к мировому, расспросим, познакомимся.

Я очень удивился этой неожиданности.

— Как же это к незнакомому? Да, ведь, у нас к нему никакого дела нет.

— Э, пойдем, это интересно; иди за мною, увидишь, как живут провинциалы, ведь, им тут скучно без людей; я их знаю; надо же изучать нравы.

И опять он заставил меня дивиться диву: перед входом он натянул лайковые перчатки, грациозно взял в руку тросточку, обмахнул платком пыль на ботинках с крючками. Ну, просто, вошел столичный франт, завсегдатай салонов хорошего тона; так мило извинился вначале, так бойко коснулся всех вопросов, так умело навел мирового на рассказы о своей практике и окрестных интересах, что расставался мировой с нами уже дружески и непритворно жалел, что визит наш такой короткий. От него мы узнали, что на ближайшей скале над Волгой Петр Великий собственноручно высек на камне свое имя. Мы сейчас же туда. Здорово вспотели, пока взобрались; воротники раскисли, сапоги ошарпались... Действительно, надпись была, хотя местами песчаник от времени и непогоды сильно выветрился, так что разобрать надпись можно было не без труда. Сверху нам казалось, что Волга подходит к самой горе, почти отвесно стоящей к берегу, но, сколько мы ни старались, не могли добросить камня до воды; а бросать камешки я был охоч и умел, — все через Донец, бывало, бросал в детстве.

Очень понравились нам Моркваша; но наша цель — Царев курган, а до него оставалось еще верст двадцать. Едем..

Эта меньшая часть пути показалась нам гораздо тяжелее. Рыбаки наши приустали, — поди-ка, отмахай столько веслами. Они посадили третьего с собою; таким образом, установилась очередь: один отдыхал.

Я стал зарисовывать свободного в карманном альбомчике.

— Ну, что, много списали? — острил он. — Аршин, чай, списали, а еще верст десяток осталось?

Только часам к семи вечера мы добрались до Ширяева буерака.

И тут нас обступили, но народ был уже наполовину не тот: эти были прежде крепостными. Мы стали расспрашивать об избе на все лето, и один хозяин повел нас в свою чистую половину избы: она была разделена на три части, и здесь мы решили поселиться. Стали торговаться с хозяином и сошлись на тринадцати рублях — платить нам за все лето.

Дня через два мы переехали.

Какая скука — пароходная неаккуратность! По расписанию из тех мест надо быть на пристани к двум часам ночи. Ждешь, ждешь, а пароход опоздает иногда на весь день! То туманы по утрам, то погрузка задержит...

Но, преодолев все это, мы с сундуками опять проехали на подводах из Ставрополя по опустевшему старому руслу Волги, опять удивлялись костям великанов-осокорей и не

могли вдоволь наглядеться на противоположный лесистый берег. Зеленый, темный, красивыми возвышенностями уходил он в небо. И дивно, дивно колебался в темнозеленой воде широкими сочными мазками. Какая роскошь, безграничность! И веселье какое-то не покидает вас на Волге. Ширь, простор да и встречи поминутные. То тянутся плоты бесконечной вереницей, то беляна, важно, увесисто нагруженная белыми досками, блестит на солнце, как золотая, и тихо поскрипывает. Все встречные салютуют пароходу, махают шапками, кричат что-то, даже деловое, и с парохода кто-то отвечает: какие-то наказы, поручения. А вот пароход «бежит» навстречу, и всех занимает, какой компании? Некоторые все знают. Подает свисток. Вот там — смотрите, смотрите! — как сильно колыхнулись косовушки; вот и нас хлестнуло высокой волной. — Смотри, смотри, — призывает Васильев меня, — опять бурлаки барку, видишь, тянут: это ужас, какая длинная бечева! Ай-ай, как их барку качнуло, даже назад попятиться. А на берегу-то, на берегу! Смотри, как бросились рыбаки к своим лодкам!

Лодки подбросило сначала вверх до камней, а потом потянуло от берега: унесет, пожалуй; рыбаки глубоко влезли в воду по самую грудь, даже вплавь бросились, а то занесет, поди, догоняй лодку. Вода тут быстро идет. Тракт бойкий. Что-то опять вдали показалось.

— О-о, гляди, гляди! — завозня¹ через Волгу переправляется, верно, на косовицу.

Пароход убавил ходу, чтобы не потопить переезжавших. Как нагружена! И лошади, и телега, и корова с теленком, народу масса, завозня до самых краев села в воду. А на веслах бабы, гребут, весла большие, распашные: вот она бабья сила! Еще вон показалась вдали на нашем пути лодка с пассажирами, в ней дамы с зонтиками, машут нам платками. Капитан дал свисток, колеса остановились. Тихо стало. «Задний ход!» Мы поравнялись с лодкой. «Стоп!» командует рулевой; выбросили трап — и пассажиров со всеми их продуктами и чемоданами приняли на пароход.

— Ну, братцы, ведь, скоро и нам высаживаться; смотрите, не забыли ли чего, подвигайтесь-ка с чемоданами и сундуками к трапу правой стороны.

Как быстро пароход идет, — «бежит», говорят мужики: вот ревнивые оберегатели русского языка, сейчас засмеют, если неверно выразиться. И тут так хлопочет наш старший опекун, наш молодой Васильев...

¹ Завозня — длинная плоскодонная лодка.

— Ого, как скоро! уже и Моркваши пробежали, скоро и наше Ширяево.

— Капитан, будьте любезны дать свисток, не доезжая Лысой горы: тут за нами лодка должна выехать, — звонко отчеканивает Васильев капитану.

Свисток раздался такой громкий, что даже уши заложило.

Видим, на средину Волги выезжает большая завозня и еще две лодки. Капитан скомандовал задний ход... Смятение, лоцмана засуетились сносить наши сундуки к трапу; в лодке их приняли умело, без суеты. Подали и нам руки снизу: «Прыгайте на средину!» Мы весело, растерянно раскланиваемся с капитаном, пароходом, добродушными лоцманами и с публикой заодно.



Сфинкс



Ширяев буерак на Волге

VII

ШИРЯЕВО

— Ну, куда-то господь привел нас? — шепчемся.

— К Ивану Алексею, знаете? — хозяйственно распоряжается Васильев.

— Знаем, знаем: вон на берег высыпала вся семья, ждут вас с утра.

— Ну, вот мы и дома, на все лето уже здесь останемся.

— Давайте устраиваться в избе: кто где поместится.

— А что, здесь по берегу охотиться можно? — спрашивает Васильев мужиков.

— А когда же, чай, нет... — отвечают ширяевцы. — Да, ведь, до Петрова дня нельзя. Запрещено начальством строго.

— А! Ну, мы так, места посмотрим. Василий Ефимович, берите свое ружьишко и айда-те, как говорят здесь.

На другой день, после чая, мы сразу разбрелись в разные стороны.

Макаров неудержимо пополз наверх к большим глыбам песчаника в виде сфинкса, Васильев с братом направился в Козьи Рожки верхнею тропой, а я взял альбом и пошел в противоположную сторону к Воложке, как называют ближайшие небольшие притоки Волги.

Спустившись несколькими порогами, вроде ступеней огромной лестницы из песка, от половодья, я увидел в уютном уголке над водой душ двадцать девочек от десяти до четырех лет. Они сидели и, как умеют только деревенские дети и люди, ничего не делали.

Я присел к сторонке и вижу: прекрасная группа детишек лепится на импровизированных ступенях Волги.

Дети сначала почти не обратили на меня внимания и потому все больше о чем-то болтали между собою и играли в «черепочки».

Вообще деревенские дети очень умны, необыкновенно наблюдательны, а главное, они в совершенстве обладают чутьем в определении всех явлений жизни, отлично оценивают и животных, и людей, в смысле опасности для себя.

— Детки, — говорю я громко, когда почувствовал, что ко мне уже достаточно привыкли, — посидите так смирно, не шевелясь: каждой, кто высидит пять минут, я дам пять копеек.

Девченки это сразу поняли, застыли в своих положениях и я — о, блаженство, читатель! — я с дрожью удовольствия стал бегать карандашом по листку альбома, ловя характеры, формовки, движения маленьких фигурок, так прелестно сплетавшихся в полевой букет... Будто их кто ласкал.

Невольно возникают в таких случаях прежние требования критики и публики от психологии художника: что он думал, чем руководился в выборе сюжета, какой опыт или символ заключает в себе его идея?

Ничего! Весь мир забыт; ничего не нужно художнику, кроме этих живых форм; в них самих теперь для него весь смысл и весь интерес жизни. Счастливые минуты упоения; не чувствует он, что отсидел ногу, что сырость проникает через пальто (почва еще не совсем обсохла). Словом, художник счастлив, наслаждается и не видит уже ничего кругом... Какая-то баба пришла, остановилась... Но я почувствовал инстинктивно, что она в волнении. Взглянул на нее, она стоит в каком-то оцепенении. От моего взгляда она попятилась, исчезла. Мы были внизу. И след ее сейчас же скрылся за подъемом... Пришла другая баба, что-то прошептала девочкам; эта вдруг схватила за косенки одну девочку и

вытащила ее наверх, откуда уже спускались две новых бабы; одна из них презлющая, с хворостиной в руке... И начались громкие ругательства. Нигде так не ругаются, как на Волге. Это слышали многие и знают, но чтобы бабы так ругались, этого, признаться, я и не воображал и ни за что не поверил бы, что мать может ругать так свою девченку уже лет десяти, так громко, при всех...

— Чего вы, чертенята, сидите? Разве не видите? Ведь, это сам дьявол, он вас околдовал... Бросьте деньги: это черепки! Вот завтра увидите сами... — и вдруг стала хлестать хворостиной без разбору весь мой живой цветничок.

Девочки завизжали, побросали пяточки, которые я так аккуратно выдавал каждой фигурке, чтобы поселить в них доверие. Рассыпались мои натурщицы все и сейчас же исчезли за подъемом. Я в горести напрасной встал и недоумевал, что произошло, но ко мне уже спускались около десятка баб и трое мужиков. Все они таинственно шептались. Подступили. Лица злые.

— Ты чаво тут делаешь? — спрашивают меня, как мошенника или вора.

— Да я на картинку их списывал, — стараюсь я быть понятным.

— Знаю, что списывал; а ты кто такой будешь?

— Да, ведь, мы вчера приехали, у Ивана Алексеева остановились в избе.

— А пачпорт у те есть?

— Есть паспорт, на квартире.

За это время группа, окружавшая меня, значительно увеличилась новопришедшими бабами и мужиками; все что-то шептали, указывали на пяточки, все еще валявшиеся тут же, и делались все мрачнее и злее.

— Подавай нам пачпорт, — гудят на разные лады мужики, — зубы не заговаривай!

— Пойдемте к квартире, — успокаиваю я, — мы не беглые какие.

Академические свидетельства тогда выдавались с приложением большой круглой академической печати вроде церковных (на метриках). Курсивом был литографирован текст, в котором, — о, предусмотрительные учредители, насадители искусства в России! — они как будто предчувствовали эти недоразумения! — на противоположной стороне листка свидетельства петитом напечатано было: лица начальствующие благоволят оказывать содействие при занятиях ученику такому-то. Пишу своими словами и не ручаюсь за точность слов.

Признаюсь, я сам только там, в избе, прежде чем вынести свое свидетельство, прочитал его про себя и очень обрадовался.

— Да разве такие пачпорта? Это не пачпорт!.. Ты, брат, зубы-то не заговаривай, видали!

— А что тут прописано? — назойливо тянет один старикашка, — а ты прочитай, ведь, мы народ темный.

— Да, читайте сами; а то, пожалуй, не поверите, — возражаю я.

Оказалось, во всей честной компании из тридцати душ обоего пола — ни одного грамотного.

— Ну, что же, позовите дьячка какого-нибудь, — советую я.

— Да где он? У нас церкви нет.

— Ларька! — крикнул один мужик побойчее мальчишке, — забеги на мой двор, сядь на пегого мерина и айда в Козьи Рожки за писарем!..

Уже по дороге, когда меня вели, как пойманного преступника, многие, особенно уже бурлаковавшие саврасы, приставали и довольно нахально напирали на меня в толпе, готовясь «проучить».

Теперь, в ожидании писаря, толпа росла и загородила все улицы перед нашей квартирой; работы в поле кончились, обыватели освобождались и ехали и шли к избам.

Ко мне подступали все ближе и рассматривали с желанием сорвать зло.

— А вон писарь едет, писарь, писарь! — сказали, указывая на бородатого мужика, рысившего на пегом, широко расставив локти.

Мужик в красной рубахе, огромных размеров, нисколько не был похож на писаря — как есть бурлак; лицо отекшее, пьющий.



Девочки (несконченный набросок)

VIII

ИМПЕРАТОРСКАЯ ПЕЧАТЬ

Ему передали мой паспорт. Он грамотно прочитал его, но, вероятно, быстрее, чем способен ухватить ухо простолюдина.

— А это что же за печать такая? — ткнул большим черным пальцем ближайший мужик в мой паспорт у писаря.

— А это: «Печать императорской Академии художеств...», — прочел казенно писарь, поворачивая круг...

Эффект вышел превзошедший все мои желания.

Толпа вдруг замерла и попятилась назад; тихо, инстинктивно стали бойцы-дерзилы затасовываться друг за дружку.

Как будто даже все лица вдруг потемнели; глаза уже смотрели или в землю, или вбок куда-то, с явным намерением скрыться.

— Императорская печать... императорская печать... слышь... ты? — как-то шуршало в толпе и, расходясь, таяло вместе с ней.

А вон, кстати, и наши: Макаров, Васильев и мой брат возвращались домой...

— Это что! Э-э-э... это что? — уже паясничал Васильев издали.

— Что? Им паспорта? Вишь, начальство!

Сейчас же к писарю:

— Зайдите к нам, мы вам все подробно объясним, 'кто мы, а вы уж, пожалуйста, вразумите этих чудаков...

— Ну, что вы, ребята? — обратился Васильев к мужикам. — Ведь мы не краденые: целое лето будем жить у вас; справиться о нас у начальства в Петербурге можете. Ну, марш, по домам; вишь, ярмарку какую устроили, — весело командует Васильев. — Как они вас притиснули!

— Айда-те, братцы, ужин варить, — уже обратился он к нам. — Ну, Василий Ефимович, доставайте-ка спиртовку, макароны, смоленскую крупу; это нам не Ставрополь: тут, я думаю, никто не умеет готовить... А есть как хочется!

— Кроме молока, можно ли тут чего-нибудь достать на приварок? — обратился Васильев к бабам.

— Да, чай, можно; где же, чай, нет; вестимо, можно, только это уж завтра: рыбаки стерлядки принесут. Когда же, чай, нет? Слава богу, у нас все есть, — поясняют бабы.

— А!.. Стерляди?.. Стерляжью уху будем варить, вот так фунт! — восхищается Васильев.

И мы стали варить макароны. Принесли молоко, черный хлеб и так далее. Мы досыта нахватались, стало темнеть и захотелось спать. Меня долго ночью одолевали кошмары. А тут еще: матрацев никаких, скамейка твердая, узкая; я накрыл ее чем мог, — куском тонкой шелковой восточной материи да простыней — больше нечем. Жестко было сначала, но в течение лета я привык к этому жесткому ложу. (А вот попробовал, было, теперь, два года назад, так не выдержал: бока разболелись! Никакой возможности не стало терпеть и бросил.)

Писарь стал предлагать разные услуги, но нам он не внушал ни дружбы, ни симпатии, и мы отказались.

— А вот что, братцы, надо нам собрать белье и отдать перемыть...

Собрали, записали, отдали. И что же оказалось? Через неделю, когда нам принесли хозяйские бабы наше белье, мы в недоумении робко взглянули на него и только вздохнули... Бабам промолчали, конечно: дешево, но полезли доставать уже брошенное прежде в грязное, — оно оказалось чище вымытого. Вымытое бабами было цвета кофейного крема, и все в мелких морщинах. Оно даже катано

не было, а сложено кое-как. Едва разобрали, которое -- чье... Решаем возить в Самару и там отдавать белье в стирку.

Самара от Ширяева всего пятнадцать верст: только обогнуть Самарскую луку, после Царевщины, за Козьими Рожками, а там скоро и Самара видна. И мы в продолжение лета часто ездили туда за покупками консервов, сушек, чаю, сахару и всего, что требовалось. Все это брали мы в магазине Санина.

Сложилось как-то так, что к вечеру, убирая кисти, палитры и прочее, мы всегда что-нибудь напевали. У Васильева был довольно звучный тенор, я подхватывал вторить, брат выводил высокие вариации на флейте; только Макаров, как истинный барин, в совершенстве оправдывал замечание Тургенева: «Нефальшиво поющего русского барина мы еще не встречали». Но Макаров умно держался: никогда не открывал рта для пения.

Особенно прижилась к нам песенка-романс: «Поле родится».

— Посмотрите,— сказал кто-то, случайно взглянув в окно — посмотрите!

Перед нашими окнами стояла уже порядочная кучка людей.

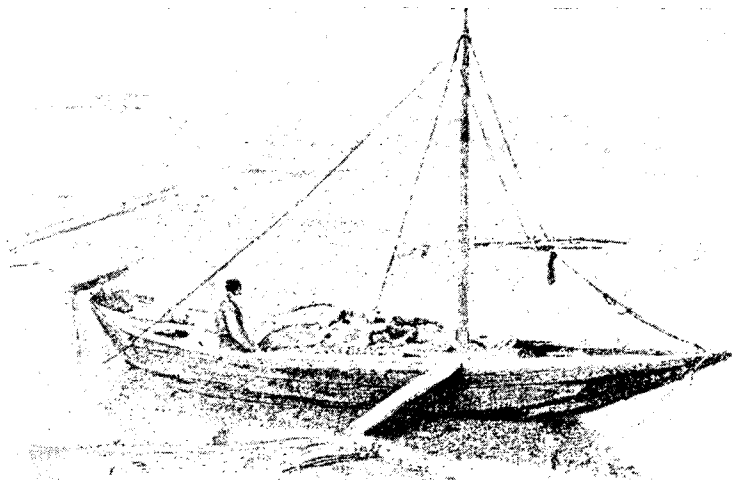
— А что, нравится? Хорошо мы поем? — спрашивает Васильев.

— А когда же, чай, нет,— отвечает мужик,— больно гоже. А что это, дозвоьте спросить, ваше благородие, молитва такая? Вы какой веры будете?

— Что ты, что ты, какая же это молитва? Просто песенка.

— Гоже, гоже; а мы думаем: словно как в церкви поют. Известно, что мы знаем?..

К этому заключению привело ширяевцев петое нами «Коль славен» и «По небу полуночи ангел летел».



Завозня

IX

НАТУРА — УЧИТЕЛЬ

Жизнь наша пошла мирно и плодотворно для нас.

В кустарниках, на Лысой горе, я впервые уразумел законы композиции: ее рельеф и перспективу. Растрепанный, чахлый кустарник на первом плане занимает огромное пространство картины; кокетливо, красиво он прячет за собою лесную тропинку, а великолепную группу деревьев второго плана делает фоном. Вот рельеф картины; а мы все барельефы сочиняли в Академии.

Вечерами, за чаем, мы делились своими наблюдениями; спорили, острили и много смеялись. Конечно, запевалой был Васильев. Вечера еще были очень короткие, и мы старались раньше вставать. У меня был затеян этюд восхода солнца с Лысой горы на Ширяево. Его можно было писать только от пяти часов утра до половины седьмого.

Какая фантазия — эти дымы из труб! Они так играют

на солнце! Бесконечные варианты и в формах, и в освещении то раскинутых кисейным флером, то сгустившихся один над другим густыми облаками. Надо ловить: никогда мотивы не повторяются точь-в-точь.

Иногда вдруг туман приползет по Волге и станет стеною, закроет всю Курумчу, и ничего не видно на левой, луговой стороне. Во время этюда меня начинает удивлять постоянство мальчика-пастуха: он стоит передо мною на расстоянии шагов сорока, будто позирует мне, застыл, не шевельнется.

Надо его расспросить; как жаль, я все ловлю дым и никак не мог удосужиться набросать мальчишку... Посмотрел на часы!.. А-а, мне пора к чаю; собираю ящик, бегу рысью, чтобы не опоздать, мимо пастуха.

— А что это ты тут стоишь? Ведь, ты отсюда ничего не видишь!

Я понимаю свою работу, которая была загорожена от него крышкой ящика.

— Больно гоже,— говорит пастушок.

— А что гоже? — не понимаю я.— На что же ты смотришь? Ведь, не на меня; так что же гоже-то?

— А блестит,— говорит мальчик.

— А что такое там блестит? Ведь, ничего, кажется, нет! — удивляюсь я, оборачиваясь.

— А вот эта крышка блестит,— указывает он на мой ящик, висевший уже на моем плече, на ремне.

Каково!? Его приковала к себе лакированная крышка ящика, блестящая на солнце... Вот спектакль!.. Как они нетребовательны.

Еще издали, с горы, я увидел, что на крыльце Кириллыч углубленно чистил свои боты и сосредоточенно хохотал на матовые пятна... Ну, значит, я не опоздал. А в тумане невидимкой и пыхтел, и свистел подошедший, спрятанный туманом пароход,— очень смешны были звуки — так близко, как за стеной, в бане, звук мягко шипел. Все больше окрашивался туман молочным цветом. Наконец-то показался нос парохода, мачта с флажком. Туман рассеялся — о, радость для всех пассажиров! — они узрели пространство и покатили смело. «Полный ход!»... — трубит капитан.

Вскоре мы научились сами себе мыть носовые платки и даже кое-что из белья, если заказы из Самары не поспевали во-время. Продовольствием и стряпней занялись Васильев с моим братом, после того как на пробу сварила нам обед солдатка Марья... Ничего в рот нельзя было взять! Стерлядей приносили нам вязанками, не больших, но све-

жих, и мы наслаждались стерляжьей ухой, подернутой янтарем.

Под нашими окнами к вечеру группа слушателей увеличивалась до толпы; это заставляло нас стараться не ударить лицом в грязь. Но страшно надоело. «Поле росится» мы уже запретили для себя. Пошла в Ширяеве слава и о нашей живописи, но не вдруг. Утром после чая я специально шел на берег охотиться на моих «Бурлаков».

Пройдя каменистым берегом выше Лысой горы верхней тропинкой, я подждал барку с луговой стороны: здесь, на одной из отмелей, бурлаки складывали лямки, подбирали бечеву, садились, ложились в сладкой неге и свободе на палубе и иногда даже запевали. Мне все слышно сверху и видно, как на ладони.

На ходу, во время тяги лямок, я никогда не слышал поющих бурлаков: это и неудобно, и тяжело; особенно на местах быстрых, когда надо крепко упираться ногами, чтобы не сорвало назад.

Против чистой золотой косы-отмели я сижу на гористой стороне, мне слышен всякий звук и хорошо видны все фигуры и лица бурлаков на барке, идущей прямо к моему месту. Я это знал. Лежащие на палубе чаще всего занимают туалетом: вынимают, кто откуда, металлические греченочки и расчесывают свои запекшиеся, скомканные волосы; некоторые даже снимают рубахи, вытряхивают их и вешают проветривать.

— «Не шибко бежит, да бурлак-то лежит»,— повторяют иные из них с удовольствием любимые изречения на плотях, и во всех случаях спуска по течению реки на парусе.

Я спускаюсь навстречу тихвинке, на которой приближается команда из одиннадцати бурлаков с подростком-мальчиком, уполномоченным от хозяина, как я узнал после, доставить из Царевщины известь в Симбирск. Должен сознаться откровенно, что меня несколько не занимал вопрос быта и социального строя договоров бурлаков с хозяевами; я расспрашивал их только, чтобы придать некоторый серьез своему делу. Сказать правду, я даже рассеянно слушал какой-нибудь рассказ или подробность об их отношениях к хозяевам и этим мальчикам-кровопийцам.

Эти мальчики были сущие кровопийцы.

— Вы не смотрите, что он еще молокосос, а, ведь, такое стерво: как за хлеб, так за брань; нечего говорить, веселая наша семейка,— жаловался почтенный старик в арестантской фуражке.

Но меня это нисколько не занимает: нет. Вот этот, с которым я поравнялся и иду в ногу, — вот история, вот роман! Да что все романы и все истории перед этой фигурой!.. Боже, как дивно у него повязана тряпичей голова, как закурчавились волосы к шее, а главное, — цвет его лица!..

Что-то в нем восточное, древнее. Рубаха, ведь, тоже набойкой была когда-то: по суровому холсту пройдена печать доски синей окраски индиго; но разве это возможно разобрать? Вся эта ткань превратилась в одноцветную кожу серо-буроватого цвета... Да что эту рвань разглядывать! А вот глаза, глаза! Какая глубина взгляда, приподнятого к бровям, тоже стремящимся на лоб. А лоб — большой, умный, интеллигентный лоб; это не протак... Рубаха без пояса, порты отрепались у босых черных ног.

— Барин, а барин! А нет ли у те-е папироски?

— Есть, есть, — радуюсь я общению и знакомству. — Всем, кто курит, дам по папироске (я тогда еще курил). — Я одеваю всех на ходу, стараясь не испортить хода.

— А можно вот с этого портрет списать? — спрашиваю я.

— Патрет? Слышь, Канин, баит: патрет с тебя писать?! Ха-ха-ха!..

— Чего с меня писать? Я брат, в волостном правлении прописан, — говорит обиженно Канин, — я не беспаспортный какой!..

— Да, ведь я не даром, — стараюсь я поднять свое униженное положение, — я заплачу.

— Слышь ты, баит: заплачу!.. А много ли ты заплатишь? — гогочут отпетые рожи, скаля зубы и уже готовясь к остромам в своих лямках.

— Да вот постоит часа полтора или два и получит двадцать копеек.

— Стало быть, на полквартиры? Вишь ты!

— Относи вперед! Вперед, живее! — командует с барки мальчик.

С тех пор как тихвинку на буксире двое дюжих гребцов на душегубке (лодченке, привязанной у кормы каждой барки) уже отвели вглубь от берега, бечеву растянули на громадное пространство и только в конце быстро приспособленными узлами закладывали свою упряжь — потемнелую от пота кожаную петлю, хомут. Надо было сильно прибавить ходу... Но я иду рядом с Каниным, не спуская с него глаз. И все больше и больше нравится он мне: я до страсти влюбляюсь во всякую черту его



Осень на Волге

характера и во всякий оттенок его кожи и посконной рубахи. Какая теплота в этом колорите!

— Так что же, можно будет нарисовать или написать с тебя портрет? — возобновляю я со страхом и боязнью, что что-нибудь помешает моему счастью, моей находке. Типичнее этого настоящего бурлака, мне кажется, ничего уже не может быть для моего сюжета.

— Да, ведь, мы сейчас в Ширяеве опять на барку сядем и перевалим к кургану, в Царевщину; нам сидеть некогда, — отвечает нехотя Канин.

— А оттуда назад? Ведь, будете же опять с известью итти?

— Так что? Только во время обеда разве...

В Ширяеве, прежде чем переправиться в Царевщину, они стали обедать. Прежде всего черный котелок с дужкой повесили на треножник, собрали хворосту, развели костер и чего-то засыпали в котелок. Сварилось скоро. Все сняли шапки; мальчик принес по сходне на берег ложки, соль, хлеб, нож; все помолились на восток и, поджимая, кто как,

ноги, сели кругом котелка, очень тихо и почтено, долго ели, не торопясь. Окончив, они так же серьезно помолились и только тогда вступили в разговор.

— А, ведь, я знаю,—сказал один шутник Канину,—ведь, это он с тебя «кликатуру» спишет, просит-то не даром.

— А нам покажешь? — захохотали все.

— Я видел, ведь: весь обед он все на Канина глядел да что-то в грамотку записывал,—пояснял наблюдательный бурлак.

— Ха-ха, быть тебе в кликатуре! — допекали Канина.

Канин как-то удрученно до благочестия молчал и даже не обижался, ни с кем не связывался, не возражал, только брови его все выше поднимались к тряпице да выцветшие серые глаза детски отражали небо... Мне он казался величайшею загадкой, и я так полюбил его.

Скоро сели они на барку, поставили парусок и завалились на боковую — на ту сторону. Барку сдвинули двое кольями, и сами взобрались на нее.

Целую неделю я бредил Каниным и часто выбегал на берег Волги. Много проходило угрюмых групп бурлаков; из них особенно один в плисовых шароварах поразил меня: со своей большой черной бородой он был очень похож на художника Саврасова¹; наверно, из купцов... Но Канина, Канина не видно... Ах, если бы мне встретить Канина! Я часто наизусть старался воспроизвести его лицо; но от этого Канин только поднимался в моем воображении до недосягаемого идеала.

— Да что же ты киснешь? — говорит мне Васильев. — Влюбленные всем видны, и их хотя и презирают, но все непрочь помочь при случае. Вот чудачина: киснет со своим Каниным. Скажи, ведь, у нас лодка есть? Есть. А Царевщина разве далеко?

— Да что же, за час можно добраться,—просыпаюсь я к действительности.

— «Благодарю, не ожидал!» Ребята, собирайтесь, завтра после чая мы едем в Царевщину! А?

— «Благодарю, не ожидал!»

— То-то же!

Наша лодка была с косовым парусом. И мы поплыли. Какое блаженство плыть на парусе! Поставили правильно направление по диагонали через Волгу. Брат мой на руле, мы невольно запели «Вниз по матушке по Волге», и нам стало вдруг весело. Хотелось дурить, хохотать: у всех были лица счастливые до глупости, до одури.

¹ Саврасов Алексей Кондратьевич (1830—1897) — пейзажист, автор знаменитой картины «Грачи прилетели» (в Третьяковской галерее).

Прежде всего мы взобрались на самый Царев курган; на него шла дорога яровыми хлебами; плоская вершина круто обрывалась отвесными глыбами извести, расположенными вроде египетских колонн... И налево, и направо уходила Волга между горами.

Внизу я увидел копошащихся людишек у каменоломен; они накладывали пласты извести на носилки и сносили их на барку. А ведь это мои: я по барке узнаю. А вон и Канин — это он. Надо спуститься к ним ближайшею тропею. Стараясь угадать дорогу, почти напрямик, я спрыгиваю по довольно крутым обрывам и, наконец, добираюсь до них.

— Канин? Вот он. Но нет, — это не он! Что за чудо? Он совсем неинтересен: обыкновенный мужиченко... Да нет, это не он... Подхожу, здороваюсь со всеми: да, это Канин. Но куда он сбросил всю свою интересную часть? Ничего особого — этого и писать не стоит...

Я разочарован. Но узнаю, что они будут в Ширяеве как раз в воскресный день, и я могу писать портрет.

Макаров совершенно пленен египетскою колоннадой (стиль Птоломеев целиком). Он решает завтра же приехать сюда с акварелью. Васильев с братом решают углубиться по Воложке, которая образовала у себя второе дно на полтора аршина от первого: но страшно ходить по этому второму этажу: поминутно проваливается нога, а внизу речка. Васильев решает писать ее, уже вышедшую на песок. До невероятности странна эта растительность, похожая на лопухи седого цвета и вся заклеенная шмарой, как траурным флером. Мы разворачиваем ящики и начинаем свои этюды. В своем увлечении мы забыли о времени.

А, ведь, пора собираться домой! Солнце к закату. Темнеет быстро, а нам теперь ехать против течения. С парусом надо лавировать; да мы еще с непривычки...

Сумерки быстро наступали; дорога берегом взбудоражена пловодными наносами, и откуда это набралось? Спотыкаешься поминутно. А вот и наша лодка. Я вооружился всем терпением, приковавшись к веслу, стараюсь подладиться под энергичные охваты весел Васильева. О, как длинна эта дорога против течения: эти четыре версты нам кажутся за десять.

Как быстро, даже на Волге, летом наступает ночь! Еще девятый час вечера, а уже кажется полная ночь, и темно, темно; а главное, — какое быстрое течение! Так и сносит, так и сносит нас. Хорошо, что на барках фонарики на мачтах заведены, и пароходы сильным светом видны издалека, а то страшно — как раз попадем в беду...

Добрались мы до Ширяева только в двенадцатом часу, голодные и усталые. Мысль о макаронах на спиртовке, о чае с филипповскими сушками — отрадная мысль, но, ведь, значит, еще надо развести самовар, собрать, сварить, заварить... А как вкусно все кажется голодному! Но все естество тяготеет уже ко сну и покою, как только оно нагло-тается... Как бы опять кошмары не стали одолевать... Не могу я удержаться на умеренности, непременно нахватаюсь! Вот и теперь... О, как хорошо прилечь даже и на жесткой узкой скамейке! Макаров в особой комнатке долго еще совершает свои омовения. Вот педант! Ни за какие коврижки не стал бы я теперь еще умываться. Брат мой спит на дворе; пристроился где-то на крыше сарая, у застрехи, и очень доволен: ветерок отгоняет комаров, дождик, если бы пошел, его не захватит. А уж воздух!.. Брат совершенно счастлив своим ложем.

Васильев не ложится. Он взял альбом побольше и зарисовывает свои впечатления Царевщины. Прелестно у него выходили на этюде с натуры эти лопушки на песке, в русле Воложки. Как он чувствует пластику всякого листка, стебля! Так они у него разворачиваются, поворачиваются в разные стороны и прямо ракурсом на зрителя. Какая богатейшая память у Васильева на все эти, даже мельчайшие детали! И как он все это острым карандашом чеканит, чеканит, как гравер по медной доске!.. А потом, ведь, всегда он обобщает картину до грандиозного впечатления: Воложка видна уже в темном таежнике заброшенного леса, большей частью, ольхи. Вся она переплелась и снизу, и сверху, как змеями, гибкими кривыми ветвями с молодыми побегами уже со второго этажа помоста... И как он это все запоминает? Да, запомнить-то еще не штука, вот и я помню — сорок четыре года прошло, — но выразить, вырисовать все это на память! Да еще примите во внимание, сколько мы с ним отмахали веслами сейчас! У меня прямо глаза слипаются, я засыпаю...

Просыпаюсь от тяжести полного желудка; а лампа все горит, и сам Васильев горит, горит всем существом ярче нашей скромной лампы... Вот энергия! Да, вот настоящий талант! Вот он «гуляка праздный», по выражению Сальери¹. Да, это тот самый фронт, так серьезно думающий о модной прическе, о щегольском цилиндре, лайковых перчатках, не забывающий смахнуть пыль с изящных ботинок на пороге к мировому. Зато теперь он в полном самозабвении; лицо

¹ «Моцарт и Сальери» Пушкина, сцена I.



Деталь картины «Бурлаки на Волге»

его сияет творческой улыбкой, голова склоняется то вправо, то влево; рисунок он часто отводит подальше от глаз, чтобы видеть общее. Меня даже в жар начинает бросать при виде дивного молодого художника, так беззаветно увлекающегося своим творчеством, так любящего искусство! Вот откуда весь этот невероятный опыт юноши-мастера, вот где великая мудрость, зрелость искусства... Долго, долго глядел я на него в обаянии. Дремал, засыпал, просыпался, а он все с неуменшающейся страстью скрипел карандашом. Ну, завтра он долго будет спать; он всегда позже всех нас просыпается, он прав.

«Спокойной ночи, дорогой товарищ,— думаю я уже во сне.— Мог ли бы я теперь встать, взять альбом и сочинять, то есть воспроизводить впечатления самого интересного из всего путешествия в Царевщину? Ни за что, ни за какие сокровища...»

Все более и более острыми розовыми иглами лучится наша лампочка перед Васильевым. Он едва слышно насвистывает мотивы из Патетической сонаты Бетховена. Он обожает эту вещь; начал одним пальцем разучивать ее и, наконец, знал в совершенстве всю наизусть... Меня уже одолевает волнение, я начинаю думать: вот те перлы поэзии жизни, которые мы, как и я сейчас, так мало ценим, так не стремимся их ловить, понять и жить ими... Так всегда, и теперь, на старости, так же. Ах, как тронул меня недавно поэт Верхарн: приехал из Парижа в Питер, сейчас же в Эрмитаж. И к нему Верхарн уже подготовлен: он знает, что у нас лучшие в мире Рембрандты... По дороге к Рембрандту он встречает Тьеполо и другие очаровательные, удивительные сюрпризы искусства; все ценит, всем дорожит Верхарн, как просвещенный человек. И вот он видит «Возвращение блудного сына». Слезы умиления в великом восторге охватывают душу поэта¹.

Я потому обратился к Верхарну из сорокачетырехлетней давности своего тогдашнего настроения, что картина Рембрандта своим тоном всегда напоминает мне тот бессмертный трепет поэзии, который окутывал и Васильева в его творческом экстазе тогда в Ширяеве-буераке...

Как часто бывает в жизни: если сегодня вечером у вас было нечто очень интересное, то завтра в это время ждите скуку.

Так и вышло.

¹ Бельгийский поэт Верхарн приезжал в Петербург во время первой мировой войны.

К нам как-то, крадучись и оглядываясь, извиваясь к полу, как провинившаяся собака, попросился хозяин нашей избы. Ну, мы, конечно, обрадовались, усадили его, стали ждать от него чего-нибудь интересного, бытового.

В нашей аптеке у Васильева была водка, чтобы натереть ноги, если кто промочит их. Это очень распожило Ивана Алексеева к нашей компании. Несмотря на таинственность, он, как оказалось, был весьма словоохотлив. Мы насторожились, слушаем, слушаем, ничего не понимаем. Все больше — то неизвестные нам существительные, то междометия. Ни одной связной мысли, ни одного ясного представления; а он все быстрее и свободнее вел свой рассказ о чем-то будто бы очень хорошо известном нам и нас очень близко касающемся...

Пробовали останавливать, переспрашивать; никакого толку, все тот же поток слов без начала, без конца, без смысла.

— Да мы, брат, ничего не понимаем из твоего рассказа,— говорит уныло уже потерявший всякое терпение Васильев.

— А я-то,— снова мечет Иван Алексеев,— разве понимаю? Разве я что знаю? Ты, баит, кого держишь?

— Да кто баит? — спрашиваем мы.

— А, стало быть, жандарм. Вот, хушь бы как ваше благородие, стоит он, а я перед ним. А он: ты, баит, кого держишь. А я, звесно, что я знаю? Я баю: мы люди темные, писарь сказывал, стало быть, при них, мол, императорская печать. А он: а что они делают, чем занимаются, почему не доносишь по начальству? А я почему знаю? Наше дело темное; сказывали, мол, планиду списывают; бурлаков, вишь, в Царевщине переписали, стало, на горы мы за ними не лезли... Ведь они вон то в Курумчу соберутся, то в Козьи Рожки, то на своей косовушке куда дернут; рази за ними угоняешься?.. Ох, грехи наши!.. Бают люди: пригоняют.

— Так разве сюда приезжал жандарм? — спрашиваем мы опять.

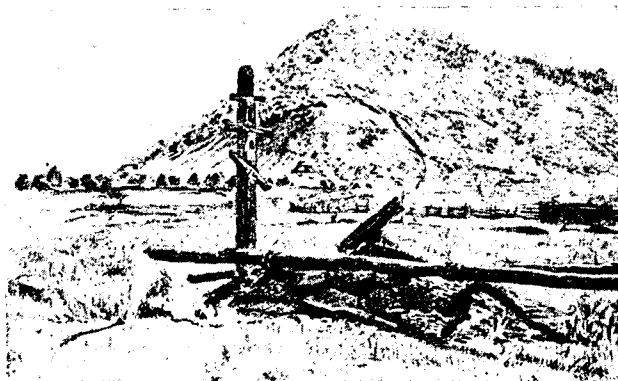
— Да и посейчас у шабра¹ стоит. Ты, баит, должен донести по начальству... А что ему доносить? А чтобы никому ни гу-гу, ни боже мой! А я ж этому, баю, не причастен: планы, стало, списывают; людей тоже записывают, бают, пригоняют; да, ведь наше дело темное... В бараний рог! Баит...

Едва-едва выжили мы его из избы. Вот глупец! И как засиделся, смотрите: уже двенадцать часов. Ну, хоть бы

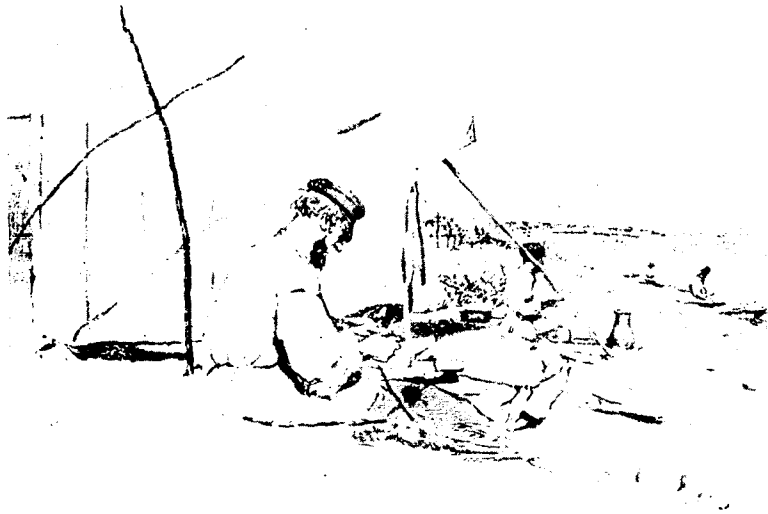
¹ Шабар — сосед.

слово путное! И Васильев сейчас же его великолепно воспроизвел: «Ну уж и вода, друг! Ведь ни боже мой, не остановится, не поперхнетя. Есть воды, пивали, ну все же глоток, другой, и там станет поперек у ней в горле, а от Девяти Колод — ни в жисть; сколько ни пей, а ни-ни, не остановится».

Но на утро мы, сидя за чаем, ясно увидели жандарма в серой шинели, с палашом. Не торопясь, прошел он мимо наших окон... Вот она, императорская печать,—будем ждать.



„Мазарки“. Кладбище на Волге



Рыбаки на Волге

Становой

X

СТАНОВОЙ

Ждали мы не долго. В одно светлое солнечное утро, гораздо раньше нашего чая, по всему двору, по всем избам и куреням шла какая-то особая суета ожидания. Клещевник, работавший на дворе с мальчиком-учеником клещи для хомутов (кустарь), усиленно убирал стружки и подметал двор. Солдатка Марья, приотворив к нам дверь, таинственно прошуршала зычным шопотом:

— Становой ноне будет к нам.

Хозяйка Маланья (из Вятки родом) вслед за Марьей объявила плаксиво:

— Становой, бают, едет. Ох, господи Сусе, прости наши грехи.

Мужиков уже дома не было. Я рад был, что не было нашего глупца-хозяина: он бы тут еще корчился. Я возненавидел его после одного воскресенья.

Обыкновенно «улица», деревенская улица, стала собираться против нашей избы. Это Васильев приучил: мы закупили в Самаре самых дешевых леденцов в бумажках и стали их бросать мальчишкам «на драку». Но драки стали переходить в такие кровопролитные потасовки, что мы прекратили этот спорт и только иногда оделяли хороводы девиц уже из рук, скромно. И вот, в то время как на середине улицы молодые девки, бабы и парни водили хоровод, пожилые бабы стояли у плетней, у завалинок, у ворот и смотрели на эти давным-давно потерявшие смысл и значение народные мистерии-хороводы. Маланья также стояла у верев своих ворот с другими бабами. Вдруг я вижу: Иван Алексеев, наш хозяин, отделился от группы мужиков и как-то боком-боком закосолапил, лепясь по-над забором, прямо к Маланье. Та не успела опомниться, как он саданул ее в грудь, смазал все головные уборы (платки и очипки) и почти опростоволосил свою бабу-жену...

Та, с визгом, согнувшись в три погибели и от боли и от сраму, затравленной кошкой бросилась в избу...

Я недоумевал. Что это? За что? Оглядываюсь на весь честной народ с жалобой в немом взоре... И никакого ответа. Все делают вид... да нет, все ничего не делают, а просто не хотят знать того, что сейчас произошло...

Какой-то резонер-мужичонко, единственный, понявший мое состояние, промямлил: «Стало, муж жену учит; тут, брат, не суйся, кто их там разберет!..»

— Ведь, это становой к нам,— говорю я Васильеву и Макарову.— Что же, не прибраться ли нам?

— Вот еще! Знаешь ли,— смеется Васильев,— есть два слова, которыми можно отделаться от всех явлений жизни. Например, тебе говорят: «Становой едет». Ответ: «Ну, так что ж?» «Да, ведь, надо же приодеться?» — «Вот еще!» Запишите, братцы, эти два слова; что бы вас ни спрашивали: ответ — первое «ну так что ж!», второе «вот еще!»

Скоро мы увидели: прямо перед нашими окнами держал направление на наш берег большой паром. В центре стояла карафашка, запряженная парой с набором и с бубенцами. Впереди, облокотясь на перила, стояла представительная высокая фигура, ну, конечно, станового; серое пальто, пуговицы блестят, фуражка с красным околышем... Гребцы распашными веслами усиленно двигали помост с перилами, укрепленный на двух завознях. На нашем берегу стояла давно уже большая кучка мужиков, готовая к услугам... Стали причаливать: мы во все три окна на Волгу не спускали глаз с интересной картины. Слышно уже, как звенят

бубенчики... Вдруг становой одним взмахом заушает огромного дюжего парня, и тот, чуть не в воду, мигом повергнут на землю, поднимается в крови... Ого! Ай-да становой! Молодчина польского типа, блондин, еще совсем молодой человек, лет тридцати с небольшим. Вот она — власть!

У меня похолодели руки, и сердце сильно билось... Предводительствуя толпой, становой направляется прямо к нам.

Переступив наш порог, он показался мне совсем другим человеком. Со всеми нами приятельски поздоровался, будто с давно знакомыми. Лицо довольное, веселое...

— Прекрасно, прекрасно, люблю эту студенческую обстановку; ведь, я сам еще студент почти; только что с курсов... А-а? Конечно, конечно, от чая я не откажусь...

Сейчас же уселся просто, ровно, свободно. Заговорил товарищески обо многом. И довольно долго болтал и нас спрашивал.

— Однако, я совсем с вами заболтался, — спохватился он, — а, ведь, мне в Сызрань путь лежит; что делать, служба... (Пауза.) И я должен попросить ваши паспорта. Вы понимаете, это форма, но, ведь, мы служим.

Мы с Макарычем сейчас же отдали наши академические печати, присовокупив и свидетельство брата из консерватории. Ждем Васильева. Васильев вдруг, как пойманный (и куда девался его апломб?), стал заговаривать о другом... суетится, моргает, краснеет...

Становой скоро изменился в лице, попристальнее вглядывается в Васильева и нечто соображает. То он собирался уже покинуть нас, только паспорта задержали, просил поторопиться: он только пропишет их в Сызрани и сейчас же вернет нам... А теперь он в раздумьи сел посреди комнаты и как-то таинственно повел речь о том, как он любит студентов, как и сам бывал в безвыходных положениях по поводу такой малой бумажки, как паспорт, но он просил бы нас не затягивать дело и объяснить просто всю правду.

Мы с недоумением глядели на Васильева: не узнаем его... Но он вдруг оживился.

— О, боже, вижу и вас я ввел в сомнение, и даже товарищи удивлены... Мой паспорт оставлен у матери для ввода дома во владение... И позвольте мне сделать вам письменное заявление впредь до удостоверения моей личности. А с этим прошу вас телеграфировать в Петербург, в Общество поощрения художеств, на имя председателя Общества графа Строганова или его секретаря, секретаря Общества, Дмитрия Васильевича Григоровича, известного писателя.

Несмотря на всю развязность и бойкость, вернувшиеся к Васильеву, несмотря на большие тузы имен, названные им, я замечаю легко, что становой уже не верит ни одному слову Васильева и думает свое. Он впился в Васильева глазами. О, да, это польские глаза, красивые, серые на выкате, и усы польские, так щегольски и не казенно, по-немецки, нет, ловко, фантастично, по-польски закрученные усы. Васильев все варьировал причины задержки своего паспорта, пересыпая их светскими фразами, но это уже не имело успеха. Становой обдумывал и ждал...

— Так как же? Чем мы с вами покончим? — наконец, он уже с некоторой строгостью ставит в упор Васильеву.

— Да я напишу заявление; вот товарищи удостоверят, они знают и мой дом, наш дом.

Становой обвел нас прокурорским взглядом.

— Как, господа? Вы ручаетесь?

— О, разумеется, разумеется! — спешили мы: и нас уже начинала угнетать вся эта история.

— Ну, пишите заявление, — сдался вдруг становой.

Васильев писал вполне грамотно, четко, красивым, культурным почерком. Он присел к столу Макарова и быстро затрепал пером.

Ждем... Выносит.

— Ах, какая досада! Уж простите за редакцию: так глупо все выходит: «оставленным для ввода дома тетки во владение...» И к чему тут тетка? Дом наш теперь...

И он хотел опять переписать, но, видно, и становому уже надоела эта история: он начал верить, что мы народ не опасный.

— Ничего, ничего, давайте; все равно, ведь, мы справки наведем...

Мы опять дружески стали прощаться со «студентом-становым» и проводили его до брочки.

Залился колокольчик, зазвенели бубенцы, пристыжная завернула голову направо, взвилась обильная пыль по дороге, и становой покати в долину к Девяти Колодам...

И по тому, как становой и здоровался, и прощался с нами, и по тому, что он так долго сидел у нас, как у своих, обыватели заметно сразу повысили о нас свое мнение, наша слава стала расти во всей округе. Жандарм к нам так и не показался.

Неприятное впечатление от странного поведения Васильева с паспортом также забывалось. Мы с Макаровым никак не могли понять, что сей сон значил?

К Васильеву, мы чувствовали, нельзя было обращаться

за разъяснениями: он сейчас же краснел и старался свести разговор на другое. И только по приезде в Петербург, когда, среди других рассказов, я в разговоре с Крамским коснулся этого непонятного поведения Васильева, Крамской с грустью закачал таинственно головою: «Так, так... Знаете, что это? Не знаете, значит, до вас не дошла сия великая тайна? Видите ли, Васильев незаконный сын, прижитый его матерью до замужества, а потому записанный лужским мещанином: он носит официально звание мещанина и невыносимо страдает от этого злого рока. Теперь вы уже, надеюсь, хорошо ознакомились с его идеалами и стремлениями. И он везде как принят!.. Вот у графа Строганова, например. Весь дом графа убежден, что он какой-то близкий родственник графу, чуть не его сын-любимец... Ну, и есть милые приятели-друзья: потехи ради они всегда ищут случая подложить другу свинью. И представьте, эти саврасы пишут ему письмо отчетливой каллиграфией на конверте: «лужскому мещанину» и так далее. Конечно, это вздор, не стоящий выеденного яйца, если бы Васильев сам имел мужество рассказать свое происхождение. К этому скоро привыкли бы: все равно, не за род принимают его лучшие аристократические фамилии, но вы не можете себе представить его мучений от такого положения. Ведь, он много раз готов был руки на себя наложить. И после самых незначительных уколов этого остряка он хандрит по целым неделям и не выходит из дому, даже дома тогда никого из своих не может видеть».



Рыбачьи снасти

XI

БУРЛАКИ

Мои приятели-бурлаки все еще грузили барку. В Царевщину мы ездили часто. По дороге к Цареву кургану было два садка. Это небольшие озера, куда рыбаки пускали стерлядей и осетров большого размера, там эти рыбы ждали приезда рыбопромышленников, забиравших их на свои барки по назначению. Пост сторожа двух садков занимал маленький мужичонко очень кроткого нрава; говорил нараспев, тонким голоском, поднимая брови высоко на лоб. Он был очень похож на святого.

Захотелось мне его зарисовать в альбом. К нам уже стали привыкать. И часто гуляющие бурлаки сами заходили к нам и адресовались так:

— Баут, ваще благородие, бурлаков списываете на картинки и платите двадцать копеек? Так вот мы готовы.

Деревня нашей живописью заинтересовалась. Особенно имел успех этюд Макарова с отставного солдата Зотова, с

трубочкой в зубах. Даже по воскресеньям почти вся улица перебивала в наших покойчиках:

— Пустите, ваше благородие, посмотреть: бают, гоже бурлака списали с трубочкой в зубах?

И автор, ослабив хохлацкие жирные губы, добродушно через очки наблюдал свой живой успех у народа прищуренными добрыми глазками.

Одни бабы попрежнему дичились нас и ни за что не шли «списываться».

Кстати сказать, в нашей среде четырех молодых людей-товарищей во все это лето никогда, ни в каком виде, не проявлялся женский вопрос. Как будто не существовало женщин на свете, а мы все были бесполое существа. Была такая стихия, было такое поколение; было такое настроение у нас в то время.

И в Царевщине нас, конечно, уже хорошо заметил тихий страж садков, и я обратился к нему:

— Дядя, хотелось бы мне списать с тебя вот в эту книжку. Не посидишь ли мне часок сейчас? Кажется, ты свободен.

— Что-о, родимый, нас писать? Мы этому недостойны,— отвечал он, уклоняясь.

— Да, ведь, я заплачу,— говорю я,— не даром время проведешь.

— Знаю, что вы платите, только мне, родимый, вашей мзды ненадобно: мы этому недостойны,— прибавил он еще раз, помолчав, и, как-то съезжившись, склонив голову набок, поспешно удалился за садки.

«Вот чудак,— думаю,— ведь точно он обиделся даже»...

Мы прошли к кургану и узнали, что наши знакомые бурлаки уже увели свою барку с известью... Я стал тосковать, что опять упустил Канина.

Здесь работала другая небольшая ватага. Один из них по повязке головы тряпичей чем-то напоминал мне Канина, и я стал зарисовывать его в карманный альбомчик.

Заметили товарищи:

— Смотрите, списывается наш Алешка-поп!

Подожли. Разговорились.

— А? Это вы про расстригу спрашиваете? Знаем, знаем!

— Разве он расстрига? — удивляюсь я. — Канин, Канин? Расстрига? он был попом?

— Да, Канин, как же: он лет десять после того при церкви пел, регентом был; а теперь уж лет десять бурлакует...

«Так вот оно,— раздумываю,— значит, не спроста это

сложное выражение лица». И Канин еще больше поднялся в моих глазах. Ах, если бы его еще встретить.

Возвращаясь в нашей косовушке домой, мы заметили, что страж садков, как только заметил нас еще издали, скрылся.

Размышляя о работе, мы сознали необходимость в подрамках и холстах, так как Васильеву и мне захотелось написать что-нибудь вроде картины. Кстаги наступили петровские паводки: каждый день лил дождь, сделалось грязно кругом. Кроме того после Петрова дня разрешалась охота. Васильев и брат мой взяли за чистку ружей, приводили в порядок патроны, пороховницы, и мы с утра до вечера возились с рубанками, стамесками и молотками. У Васильева шло лихо, быстро: он наделал себе много подрамков разных размеров, большей частью длинных (в два и три квадрата), я оказался бездарностью в столярном деле: долго возился, особенно раздвоенные углы меня заедали, скверно мастерил и после второго подрамка окончательно спасовал.

Становой при отъезде обещал нам, что на будущей неделе наши паспорта с первой оказией из Сызрани будут присланы нам обратно, как только их пропишут в стане. Мы ждали недолго, но получили бумагу за подписью станового, что нас вызывают в Сызрань за получением наших паспортов... Извольте более ста верст проехать туда и обратно! Положим, новые места — может быть, небезынтересно, но, ведь, это же будет стоить денег, а наши финансы очень скудны: впереди еще три четверти лета, да еще и обратно надо проехать. Пароход хотя и бесплатно, но продовольствие там очень дорого.

И еще крупная неприятность все заметнее и заметнее заявляла о себе: начиная с сапог, которые просто горели у нас от наших больших прогулок по горам и по лесам, сдежа вдруг тлела и превращалась в самые непереносимые лохмотья: брюки стали делиться на какие-то ленты и внизу, без всякой церемонии, отваливались живописными лапами... Однажды я с ужасом ясно увидел себя в таком нищенском рубище, что даже удивился, как это скоро дошел я «до жизни такой», ничего по привычке не замечая. Постепенно оглядел других. Только Кириллыч соблюдал достоинство барина, только за него не было стыдно, нам же надо было в Самаре подыскивать какие-нибудь блузы, рубахи и прочее, чтобы сохранить лучшее платье к возвращению в Петербург.

Васильев чувствовал, что это он — причина нашего вызова в Сызрань, и стал писать своему покровителю графу

Строганову письмо, чтобы о нем поскорее прислано было удостоверение его личности из Общества поощрения художеств.

Ему захотелось прочитать нам свое послание. Это было такое дивное поэтическое произведение, что мы совершенно онемели от очарования. На наших глазах он вырос еще на две головы. Но что произошло? Не успели мы опомниться от нашего восторга, как он вдруг — трах, трах, трах — разорвал письмо на мельчайшие части и бросил его в сор.

— Лучше бы ты мне отдал,— кричу я в отчаянии,— я бы сохранил это на память!..

На другой день несколько просохло, и мы пошли обходной дорогой прогуляться к Волге, в которой мыли кисти. Некий обыватель выехал на водопой с лошадиной семьей: на одной он сидел верхом, другую держал на поводу, и за ними на свободе бежал, играя, жеребенок двух лет, темносерый, энергичный, как в первый день творения. Увидев его, Васильев мигом бросился вдогонку, подскочил сзади, коснулся легко крупа и в один миг сидел уже верхом на идеальном создании. На спине, на которой, может быть, еще не сидел ни один смертный, Васильев чувствовал себя, как дома на стуле. Мы спешили за ним с разинутыми от удивления ртами и в страхе за него, а он, поощренный впечатлением невиданного нами зрелища, начал вдруг, совершенно как цирковой наездник, принимать разные позы, перекидывать ноги и, наконец, сидя лицом к нам по-дамски, стал съезжать на самый круп к хвосту жеребенка и посылать нам оттуда воздушные поцелуи. Вероятно, жеребенка защекотали, наконец, его движения, он пришел в раж и вдруг так подбросил Васильева к небу, сопровождая свое движение необыкновенно громким и зычным звуком, что, казалось, Васильев улетает за облака. В это мгновение он страшно походил на Дон-Кихота, подброшенного крылом мельницы...

Пока мы бежали к нему, он уже бодро вскочил и только отряхивал руку, на которую он так упал, что она даже в землю вошла; слава богу, хорошо, что земля мягкая,— это спасло руку, но Васильев все же две недели ходил с рукою на перевязке.

Стали они с братом моим уходить на охоту на всю ночь; ночевали под стогами, на болотах. Все бы это ничего, но Васильев стал сильно кашлять, этого равнодушно нельзя было слушать: кашель казался мне подозрительным — он-то и свел его впоследствии в могилу во цвете юных сил и блестящего таланта.



Двор на берегу Волги

XII

ЦЕПЬЮ К АНТИХРИСТУ

После Петрова дня все продолжались дожди, растворилась грязь по улицам, и мы, наконец, принялись за свои холсты-картины. Васильев поминутно выскакивал то на огород, то под сарай или на крыльцо со своим этюдником, откуда виднее, и иногда, даже под дождем, стоял под складным зонтиком и ловил мотивы облаков, если они были необыкновенны. А на большом холсте он писал вид Нижнего-Новгорода. К этому он готовился еще будучи в Нижнем: собирал зачертки и далее, и ближних стен, и башен. Невыразимо восхищался он красотой всего этого, но картина ему не давалась. Нечего и говорить, что ни один из этюдов и набросков не помогал ему; они оставались сами по себе, он каждый день менял всю картину и кончил тем, что вместо Нижнего-Новгорода написал на этом же холсте мотив Курумчи, татарского села за Волгой, против нас. Эта картина и сейчас в Третьяковской галлерее.

Без смеха не могли мы вспомнить только что прошедших праздников Петра и Павла... Вся улица была грязна и пьяна. Ватага мужиков или парней, взявшись за руки и растянувшись поперек всей широкой улицы, горланила во всю глотку, кто в лес, кто по дрова, какие-то песни, «писа-

ла мыслете» по всей длине улицы, вдоль над Волгой, и бесстрашно шлепала лаптями по глубокому лужам.

Я заметил, что некоторые, особенно молодые парни, даже не будучи пьяными, нарочито притворялись такими — до «положения риз». Это, оказывается, поднимало их в общественном мнении деревни; да, во всяком обществе свое общественное мнение: значит, есть на что пить, значит, не дурак, может заработать. Эту мораль мы узнали потом. Пьяных до такой степени баб мы не встречали. Мужики же с каким-то особым уважением относились к нам, непьющим. Например, даже будучи как стелька, еще издали шагающийся мужик, испачканный, как и все они, в грязи, завидев нас, приободрялся, окидывал себя пьяным взглядом, становился, держась за изгородь или за угол избы, в почтительную позу, снимал шапку, если она была на голове (большей частью гуляли без шапок), кланялся нам низко с риском падения и говорил каким-то раскаянным голосом: «Ваше благородие, простите меня Христа ради»...

На самом большом своем холсте я стал писать плоты. По широкой Волге прямо на зрителя шла целая вереница плотов. Серенький денек. На огромных толстых бревнах, на железном противне горел небольшой костер, подогревая котелок. Недалеко от рулевых, направлявших течением всей лыковой флотилии, сидела группа бурлаков, кто как. В эту нескончаемую седмицу недель от Нижнего до Саратова чего-чего не переберут на своем пути волжские аргонавты!..

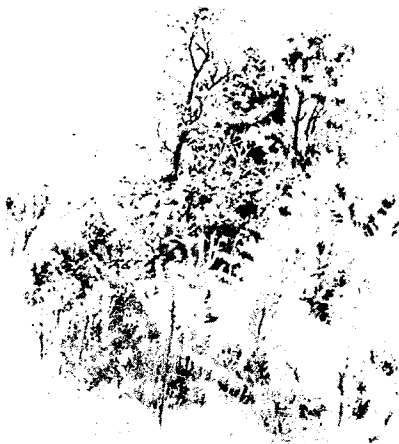
Эта картина под свежим впечатлением живой Волги мне удалась, она мне нравилась. Но она составляет и сейчас большую язву моего сердца: она причислена ко всему, уничтоженному мною в негодный час какого-то нелепого искушения. Я ее записал сверху другим мотивом. Как будто я не мог взять другого холста?!.. Так широко была она гармонизирована и имела такую глубину!.. Погублена она была уже в Петербурге.

И надо уж быть правдивым. К уничтожению этой картины меня подбил И. И. Шишкин. Время тогда было тенденциозное: во всем требовали идею; без идеи картина ничего не стоила в глазах критиков и даже художников, не желавших прослыть невежественными мастеровыми. Картина без содержания изобличала предосудительную глупость и никчемность художника.

Я показал Шишкину и эту картину.

— Ну, что вы хотели этим сказать! А главное: ведь, вы это писали не по этюдам с натуры?! Сейчас видно.

— Нет, я так, как воображал...



Козьи Рожки

— Вот то-то и есть. Воображал! Ведь, вот эти брёвна в воде... Должно быть ясно: какие бревна — еловые, сосновые? А то что же, какие-то «стояросовые!» Ха-ха! Впечатление есть, но это несерьезно...

Времена меняются. И вот, что теперь поставили бы в заслугу, — картинка с настроением и написана только по воображению, — тогда считалось несерьезным, глупым и осуждалось, как развращающее направление «беззаботных насчет литературы».

Пасмурная неделя непогоды принесла большую пользу нашей технике. Все мы почувствовали какую-то новизну и в средствах искусства, и во взгляде на природу; мы постигали уже и ширь необъятную, и живой колорит вещей по существу.

Трезвость, естественная красота жизни реальной впервые открывались нам своей неисчерпаемой перспективой красивых явлений.

У Васильева при падении с жеребенка, к несчастью, пострадала левая рука, и он мог работать только правой, левая была еще на перевязи. Как-то в сумерках зашел к нам озабоченный писарь — этот бурлацкий бардадым — и подал

нам официальный пакет из Сызрани. Нас опять вызывали в стан за нашими паспортами.

— Ну так что ж? — попробовал паясничать Васильев.

Но писарь таинственно прибавил, что становой сердится и грозит вызвать нас по этапу...

— По этапу! Вот так фунт!..

Надо было писать нам в Петербург к заступникам.

Васильев засел за письмо к Д. В. Григоровичу, а я написал пространное письмо П. Ф. Исееву. На этот раз мы уже не просили Васильева читать его письмо, боялись повторения истории с первым. Поскорей, на другой же день, запечатав письма, отвезли их в Самару и отправили заказными в Петербург.

Нельзя сказать, чтобы мы были спокойны духом... Когда-то еще нам ответят?! Чем? А может быть, и без ответа прогуляемся по этапу в Сызрань...

Просохло; мы стали опять делать прогулки вглубь по долине и по горам. Особенно любили мы «по верхней дорожке в Козьи Рожки»... (Хорошо рифмовалось!)

Приехали раз в Царевщину: вот и садки рыбные, вот и преподобный мужичок мой грустный-грустный сидит на своем камешке, подпершись рукою, выражая этим эпически печаль народную.

Поздоровались. Я радуюсь, что он не избегает нас, и не хочу уже начинать своей неприятной ему докуки — списывания. Но он сам дал пройти вперед товарищам и таинственно кивнул мне.

— Слухай-ка-ся, родимый, что я вам скажу?.. Тогда баили — списать меня, так я, пожалуй, и надумаю.

— Да чего же тут думать, — обрадовался я, — альбом со мною; вернемся к твоему Алатырь-камню, где ты сидел, и сейчас же начнем.

— А много ли же вы мне дадите? — сказал он отчаянно как-то, понизив голос и опустив голову.

— Да как тогда говорил, как всем плачу: посидишь часок и получишь двугривенный...

— Э-э! Нет, родимый, так у нас с тобой дела не выйдет; нешто это гоже? так продешевишься! — Произошла большая пауза. — Я думал, вы мне рублей двадцать дадите, так мне бы уж на всю жизнь... — почти шопотом, как-то отчаянно dokonчил он.

— Что ты, чудак какой? — удивляюсь я. — Да за что же? Разве это возможно?

— А душа-то?! — взметнул он дерзко на меня.

— Какая душа? — недоумеваю я.

— Да, ведь, вы, бают, пригоняете...

— Куда пригоняете? Что такое плетешь ты, не понимаю.

— А к антихристу, бают, пригоняете...

— Ой, что это! Какая выдумка! — уже начинаю я горячиться. — Вот вздор!

— Ладно, брат, мы всё знаем, — переходит он уже в ссору. — Послухай-ка, что народ баит. Теперь, баит, он с тебя спишет, а через год придут с цепью за твоей душенькой и закуют, и погонят ее, рабу божию, к антихристу... Ась?

— Неужели ты этому веришь? — серьезно-укоризненно стараюсь я разубедить его. — Да бог с тобой и с твоей душою...

И я поскорей ушел догонять своих.

Невольно думалось: «Каков бюджет у этих бобылей! Двадцать рублей — так это капитал ему на всю жизнь, да и тот он зарыл бы в землю, да так и умер бы, никому не открыв своего клада».

Однажды напугал нас Макаров: он не вернулся из Царевщины к ночи, как всегда, и мы всю ночь прислушивались, не постучится ли он?.. Стука не было. Встали раньше обыкновенного, выпили наскоро чай и — за Волгу, в Царевщину, узнать, жив ли он, где он? Страшно, жутко стало всем нам. Переехав на луговую сторону, мы боялись даже заглядывать в кусты лозняка: а вдруг он там лежит убитый.

Трава за Волгой выше роста человеческого, а цветов, цветов — самая пора косить. Были сильно примятые следы. Если в этой траве где-нибудь кинули убитого, разве увидишь отсюда? Вот смята трава. Вот еще смята — кто-то скрывался. Страх берет... Что-то волокли.

Идем на курган поскорее — оттуда виднее.

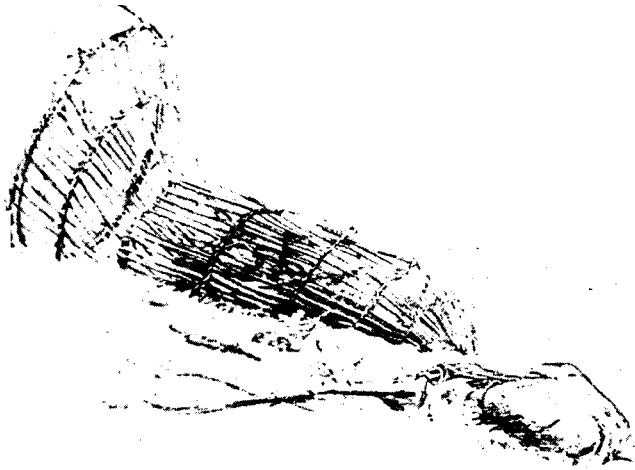
Взобрались на вершину, видим: жив и здоров, сидит наш Кириллыч в цилиндре, очки блестят, и, поднимая высоко голову на свои ненаглядные капители Птолomeев¹, совершенно забыл весь мир. Мы присели и начали бросать в него камешками. Далеко, не добросишь. И вот он, художник по страсти, противный хохол: наши камешки все с треском разбиваются об известняк, стук слышен даже нам, а Кириллыч — ноль внимания, сидит, покачивая головою вправо-влево. Наконец, подошел к нам свежий чугувец,

¹ Репин сравнивает глыбы известняков Царева кургана с капителями колонн эпохи Птолomeев (одной из царских династий Древнего Египта).

мой брат Вася; он еще не забыл, как бросал через Донец камешки. Камень его загудел, свистя в воздухе, и ударился у самого стакана с водою для акварели, который всегда неотлучно находился при акварелисте. И как метко бросил... артист! Только тогда наш коллега встал, и то не торопясь, медленно, стараясь понять, откуда камень, начал философски оглядываться кругом.

Мы, разумеется, в это время, согнувшись, наблюдали его, а потом долго еще бомбардировали, хохоча до упаду от радости, что он жив. Наконец, расхохотались громко, поднялись, и между нами произошла перестрелка. Сбежали вниз. Закидали его упреками. Потом снова стали бросать камни,— кто дальше. Разумеется, чугуевец оказался вне конкурса. Как он играл в городки! Палка, брошенная им, гудела, как машина, как-то кружась в воздухе, а достигнув земли, она со скребом взрывала почву... Городок взлетал на воздух голубями. Васильева ошарашило искусство юнца, и он страстно, чуть не до вывиха правой руки, предался этому спорту и делал успехи.

Возвратились домой мы поздно. Хозяева дожидались нас озабоченные и объявили нам; что завтра опять становой сам беспрерывно будет; только не знали; в какое время,



Веперь

XIII

НАША ВЗЯЛА!

Мы прождали станового все утро, страшно злились и пошли, наконец, на этюды развлечься от тяжелого состояния. Наказали только мальчику, чтобы прибежал за нами, если завидят станового.

Мы ждали его с Волги и все время с горы поглядывали на Волгу, с досадой рассуждая о нелепости географического положения нашего Ширяева-буерака.

Мы, то есть наши Ширяево, считались Сызранского уезда, Симбирской губернии; но до Симбирска от нас верст триста, от Сызрани более ста верст. Самара же в пятнадцати верстах, да не наш губернский город. Писарь говорил, что туда, то есть в Сызрань и обратно, свезли бы нас рублей за десять. Да ведь десять рублей для нас деньги большие. Слава богу, что жизнь, большею частью на черном хлебе и молоке, не была для нас разорительна. Стерляди мелкие в четверть аршина продавались вязками по десятку и стоили по две копейки штука.

Видим, бледный, как полотно, наш мальчишка взбирается к нам на гору и кричит еще издали, задыхаясь:

— Ай-да-те домой, становой уже приехал и ожидает вас!..

Торопимся, волнуемся страшно, подходим. Видим, еще издали, стоя у наших ворот, он с ласковой улыбкой снял фуражку и довольно низко кланяется нам. «Ведь, это он иронически,— думаем мы... — Ну, чем это кончится?» Приблизились. Он опять очень радушно, дружески жмет нам руки и просит позволения войти в наше жилище.

Переступаем с биением сердца.

— Вот ваши паспорта, господа, простите, я вас, кажется, несколько обеспокоил последним «отношением» из стана (то есть официальной бумагой). Но войдите же в мое положение: форма, служба. Очень, очень извиняюсь перед вами, господа; и прошу вас, умоляю, если будет вам запрос от губернатора из Симбирска, уж будьте милостивы, не мстите мне: я не мог предположить, что у вас такие связи в Петербурге, откровенно вам признаюсь...

— Объясните нам, господин становой, в чем дело: все это время мы так были перепуганы этапом, что и сейчас еще не можем успокоиться и даже думаем, не иронизируете ли вы над нами? — волнуется Васильев.

— О, нет, нет! Симбирскому губернатору была телеграмма о вас из Петербурга из больших сфер, и он сейчас же очень внушительно, по телеграфу, предписал в уезд оставить вас в покое... Пожалуйста, господа, в случае какого недоразумения прошу вас обращаться прямо ко мне: все, что касается вас, все будет ограждено, и вы будете пользоваться самой заботливой опекой администрации стана...

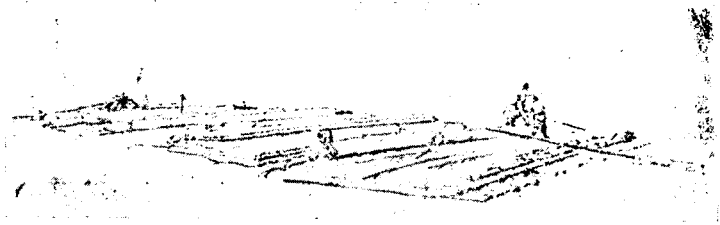
Мы переглядываемся, благодарим.

И какая опять перемена в нем. Даже ростом стал меньше. Мужикам, остолбеневшим от страха, он сказал нечто вроде речи: берегите, дескать, мне этих господ, так как начальство из Петербурга предписывает оказывать им содействие в их занятиях.

— А засим,— обратился он очень почтительно к нам,— не смею больше беспокоить вас и отрывать от ваших занятий.

Опять наотмашь снятая фуражка и низкий поклон, после чего он поскорей сел в свою таратайку и укатил. Уф, как хорошо!

— Чье же бы это влияние из Петербурга?! — гадаем мы. Как после выяснилось, оно было, главным образом, от Исеева. До Академии художеств он служил вице-губернатором в Костроме, и у него, конечно, были влиятельные связи в Петербурге.



На Волге. Плуги

Васильев получил торжественное удостоверение из Общества поощрения художеств за подписью президента Общества графа Строганова и его секретаря Д. В. Григоровича. Он поименован был действительным членом Общества поощрения художеств.

Шансы наши и у писаря, и у всех десятских Ширяева и Царевщины поднялись уже до мифической высоты. Но с этого же момента пошла в ход о нас фантазия обывателей. Они замкнулись. На поработанных молчаливых лицах ясно было написано: «Разве это спроста, что даже становой боится этих неведомых записывателей? Это, брат, неспроста... Известно: от антихриста, его слуги, а в будущем году, бают, всех, кого теперь запишут, всех закуют большою цепью и погонят прямо в пекло. А деньги их — черепки: только перекрести их с молитвою, так вместо денег одни черепки останутся в руках»...

И нам пришлось даже наблюдать это перекрещиванье наших пятаков... Видно было однажды из окна, как трое бурлаков, получивши от нас плату за сеансы, стали крестить на ладонях наши деньги и долго таинственно толковали, пока не скрылись внизу в переулке к Волге.

Баба, взявшаяся готовить нам пищу, оказалась невообразимой бездарностью, есть ничего нельзя было, такая безкусица.

— Да, ради Христа, ну свари, как варишь дома для себя, чего тут мудрить! — просим мы.

— Да, ведь, вы, барин, не станете есть нашей еды, ведь, у нас еда простая, — отвечает баба.

— Ну хорошо, этого-то нам и надо; вот мы и будем есть простую еду, — решаем мы, думая, что, наконец-то, наладится наш стол.

Вышло невозможное: в рот ничего нельзя было взять.

И вот, как-то шутя, артист, чугуевский дискобол¹, взялся совершенно случайно что-то состряпать к нашему обеду, и что же? Вышло прелесть как вкусно. И с этих пор мы без всякой совести эксплуатировали нашего юнца. Он нам готовил все лето, и мы восхищались его способностями кулинара.

При неаккуратной, случайной и скудной подчас пище мы были вполне здоровы и каждый день ходили на Волгу купаться с берега. Гигиена сознательно вошла в нашу жизнь. Каждый убирал свой угол, и мыла мы не жалели. Мужчины, и особенно молодые парни и мальчишки, все же нас не боялись и не дичились. Во время нашего раздевания и купанья, особенно если был праздник, кругом нас стояли и лежали любопытные целой гурьбой. Они обсуждали вслух всякую вещицу нашего туалета и особенно дивились нашей трате хорошего, пахучего мыла на мытье тела. Здесь выразился их взгляд на тело вообще и на некоторые части в особенности. И как это нелепо: места тела, требующие особенной чистоты и, следовательно, тщательной промывки, вызывали у них самый непристойный смех и презрение... Они отворачивались с хохотом от нас: «И яму честь! Ха-ха-ха». Но я тогда читал им целую лекцию о том, что мытье нечисто всего тела необходимо и что много кожных болезней у людей — от нечистоты. Слушали и понимали все.

¹ Дискобол — метатель диска



Самара

XIV

ОТВЕРЖЕННЫХ НЕ ЖАЛЕЮТ

Отношение к нам у них установилось особое, как к иностранцам; это бы еще не беда, но вот что скверно: они верили, что мы слуги антихриста, и, казалось, втайне радовались бы какому-нибудь нашему несчастью. Такое предположение оправдалось.

Однажды Макаров поехал в Самару за покупками. Он это любил, так как при этой okazji привозил с собою какие-нибудь новые духи или мыла. В его комнате стоял всегда аромат нежной барышни, и весь туалетный столик был у него заставлен флаконами и склянками разных величин. В назначенный час, около восьми часов вечера, брат мой с Ларькой должны были подъехать к пароходу, идущему из Самары, и принять в свою лодку товарища с пакетами.

Приходилось не раз и нам всем так выезжать, дело стало привычным: мы изучили все расстояния и знали, где стоять на воде, держась на месте, в какое место метить,

приближаясь к пароходу, знали хорошо, что опасно было попасть вперед, под колеса (пароходы «Самолета» были еще колесные), и нисколько не боялись подъезжать.

В семь часов мы с Васильевым понесли кисти к Волге и, вымыв их, надеялись встретить Кириллыча с пакетами и помочь нести их домой. Слышим и свисток: пароход «бежит». Видим дым и видим так же, как брат Вася на веслах, а Ларька на руле отчалили от берега и сильно понеслись к пароходу... Мы подвигались потихоньку по берегу. Слышим вдруг тревожный свисток: вызывают еще лодку. Прибавляем шаг. Видим,— как это скоро делается и в городах и деревнях, если стряется нечто вроде нечаянного несчастья,— уже бегут к тому месту, где что-то случилось; ближе к пароходу уже народ сбежался; а некоторые уже идут к нам навстречу по берегу с веселыми лицами и махают издали руками, указывая на пароход.

— Ха, ха, а, ведь, ваши-то утонули, угодили под пароход: лодка — в щепы, а они ко дну... Бают, Ларьку вытащили,— добавляет мальчишка,— да, Ларьку вытащили, а ваши товарищи потонули. Хе-хе! Ах, чудачки, прямехонько под колесо...

Можете вообразить нашу лихорадку, мы уже бегом к месту, откуда лодка наша отчалила (вроде пристани, за порожком, места эти часто меняются в зависимости от обмеления).

Сколько народу! И откуда вдруг и так скоро? И все веселые, добрые, смеющиеся лица; как будто поздравляют нас с обновками, повторяют со смешком: «Да, потонули, потонули». Но вдруг мы видим: на лодке целы и невредимы — Макаров стоит, брат мокрый и особенно Ларька еще мокрее сидят уже в чужой лодке, их правят к берегу. Мы даже глазам не поверили и стали вдруг хохотать как сумасшедшие, от радости...

Оказалось: брату, сидевшему спиной к пароходу, конечно, не было видно, куда правит рулевой. И так как они несколько запоздали выехать и держаться на середине на веслах, брат боялся опоздать и потому налег на весла, а Ларька зазевался, не скомандовал ему остановиться во-время и угодил выше колеса. Счастье, что пароход во-время остановил колеса, они не двигались. Брат почувствовал вдруг сильный удар в спину — корма вдребезги, а дно лодки провалилось из-под его ног; он успел броситься на колесо и повиснуть на нем, а Ларька, с провалившимся дном и поплывшими в разные стороны бортами лодки мог бы потонуть, но он, конечно, умел плавать. Ему бросили спасательный

пояс, а брата с палубы третьего класса публика вытащила
наверх за руки; оттого он мокр был только до пояса.

Привезли после к берегу даже осколки нашей лодочки,
но что с ними делать... Долго они валялись на берегу, пока
не растаскали мальчишки. Так кончила свое существование
наша милая лодочка, которую мы так любили и к кото-
рой так приспособились.



Васильев и Макаров на этюде



Царев Курган

XV

КАНИН

И вот я добрался до вершины сей моей бурлацкой эпопеи, я писал, наконец, этюд с Канина! Это было большим моим праздником. Передо мною мой возлюбленный предмет — Канин. Прицепив лямку к барке и влезши в нее грудью, он повис, опустив руки. Публики, свидетелей было немного, — только свои бурлаки, да разве еще случайный прохожий с «тифинки»¹.

Несмотря на воскресный свободный день, ширяевцы даже и близко не подходили. В их глазах на берегу у барки бурлаков совершалось нечто роковое, страшное: человек продавал антихристу свою душу... Бабы даже издали отворачивались. Детям приближаться к нам запрещали... Там, в ширяевских избах, морил всех страх, говорили вполголоса.

Зато здесь, у самого берега, я свободно отводил душу, созерцая и копируя свой совершеннейший тип желанного

¹ «Тифинка» — тихвинка — грузовое деревянное судно, барка.

бурлака. Какое счастье, что Канин не вздумал сходить в баню или постричься, как бывало с некоторыми моделями, приходившими подстриженными, побритыми до неузнаваемости. Он был извещен заранее и, как все серьезные люди, позировал серьезно; умело выносил непривычное положение и легко приспособлялся, без помехи мне.

— Что, тащишь? Тащи, брат, тащи! — острили прохожие бурлаки.

Все-таки за моей спиной образовалась группа зрителей — прохожих, отпетых, не деревенских.

— Дивлюсь, — говорит один голос, — и тут человек, и там человек... чудно! Диковинно...

— Э-э-х, батюшки!!! Да, брат, вот оно: кому какой предел, стало быть, положон... Господи-батюшки... и до чего это люди доходят: ведь, живой, совсем живой стоит на холстике.

Один сел близко около меня и корточкой, вздыхает.

— Тиртисенью лисируете?¹

Оглядываюсь: самый обыкновенный бурлак лет под сорок.

— А вы, что же, живописью занимаетесь? — спрашиваю.

— Да-с, я иконописцу отдан был в ученье, писать образа... Давно уже это дело было... А и как же смело это вы с красками обращаетесь! Ну, да у нас и красок таких не было.

И он начал что-то объяснять товарищам.

— Да, ведь, ты что понимаешь?.. Ты посмотри, как он горит всей душенькой своей! Ведь, как замирает! Ты думаешь, это легко!.. Ведь, душа-то из него чуть не вылететь хочет. Стало быть, туда, на холст...

Эти разговоры я слышал во время наших отдыхов, когда Канин курил.

Но во время стояния в лямке он поглощал меня и производил на меня глубокое впечатление.

Была в лице его особая незлобивость человека, стоящего неизмеримо выше своей среды. Так, думалось мне, когда Эллада потеряла свою политическую независимость, богаты патриции железного Рима на рынках, где торговали рбами, покупали себе ученых философов для воспитания

¹ «Тиртисенью» — Терра ди Сиеной (или жженой сиеной) — одной из красок, которыми живописцы, вследствие их относительной прозрачности, пользуются для «лессировки», то есть для вторичного прописывания тонким слоем уже высохших частей картины с целью видоизменить или усилить какой-либо тон.

своих детей. И вот, философа, образованного на Платоне, Аристотеле, Сократе, Пифагоре, загнанного в общую яму или пещеру с беглыми преступниками-земляками, угоняли на Понт Эвксинский¹, и он лежал там на солнцепеке, пока кто-нибудь не покупал, наконец, его, шестидесятилетнего старика... Воображаю, сколько претерпевал такой праведник от всей грубой дворни, которая мстила ему за то, что он допускался в барские покои оптиматов², ослеплявшие роскошью; разумеется, тогда его переодевали в чистые туники, очищали от лохмотьев с паразитами...

И Канин, с тряпицей на голове, с заплатками, шитыми его собственными руками и протертыми снова, был человек, внушающий большое к себе уважение: он был похож на святого на искусе.

Много лет спустя я вспоминал Канина, когда передо мной в посконной, пропотелой насквозь рубаше проходил по борозде с сохой за лошадь Лев Толстой...

Белый когда-то картузишко, посеревший и порыжевший от пыли и пота, с козырьком, полуоторванным от порыжелого околыша. Казалось бы, что могло быть смешнее и ничтожнее этого бородатого чудака (проходившие баба с мужиком долго стояли в сторонке, пристально вглядываясь в графа, и ирония — мужицкая — «божьего произволения» не покидала их...). А в этом ничтожном облачении, грозно, с глубокой серьезностью, светились из-под густых бровей и пронизательно властвовали над всеми живые глаза великого гения не только искусства, но и жизни...

Канин по сравнению с Толстым показался бы младенцем; на его лице ясно выражалась только греза. Это была греза самой природы, не считающая часов и лет — вселенская греза.

Всего более шел к выражению лица Канина стих Некрасова:

Ты проснешься ль исполненный сил?
...Иль... духовно навеки почил?

Кстати, стыдно признаться, никто и не поверит, что я впервые прочитал некрасовский «Парадный подъезд» только года два спустя после работы над картиной, после поездки на Волгу. И в самом деле я не имел права не знать этих дивных строк о бурлаках. Все считают, что картина моя и произошла-то у меня как иллюстрация к бессмертным

¹ Так называлось в древности Черное море.

² Оптиматы — аристократия в Римской республике.

стихам Некрасова. Но это не так. Сообщаю только ради правды¹.

В Неаполитанском музее, при самом входе в вестибюль с улицы, помещены две статуи скифов — одна по правую, другая по левую руку. Фригийские колпаки на головах и порты на ногах сейчас же напоминают куль-обские вазы² и плоские круглые блюда в нашем Эрмитаже; на вазах тонко выгравированы, так же как и на круглом блюде, изображения скифов с лошадьми. Они ловят лошадь арканом, треножат ее ремнем, точно так же как и посейчас донские казаки ловят и треножат своих коней, и одежды скифов очень напоминают казацкое платье, какое я еще в детстве знал на них.

Эти две превосходные статуи непременно должны быть скопированы или отлиты из гипса и помещены в наших скульптурных музеях... «Зачем?» — спросит читатель. «Эти два славянина необыкновенно интересны для нас, — отвечу я, — а для меня это родные братья Канина: та же глубина выражения лиц и те же черты чисто славянского типа». По стилю скульптура этих статуй относится к первому веку до нашей эры.

И эти славяне — одни из тех многих пленников, добыча тюркских всадников, которые угоняли наших предков в Константинополь и там, на невольничьем рынке, продавали их богатым патрициям. Многие славяне попадали в большую доверенность к своим господам и становились старшими и в

¹ Тема картины Репина совпала со знаменитыми строфами сатиры Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858).

«Видь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется
То бурлаки идут бичевой!..
Волга! Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля».

В другом стихотворении: «На Волге». (1860) Некрасов писал:

«Почти пригнувшись головой
К ногам, обвитым бичевой,
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки».

² Куль-обские вазы (IV—III в. до н. э.) найдены в 1881 году в кургане Куль-оба близ Керчи. Сцены же приручения лошадей скифами (их имеет в виду Репин) находятся на знаменитой серебряной вазе из Чертомлыцкого кургана (IV—II в. до н. э.), хранящейся в Эрмитаже.

домах над рабами, и особенно в морях, на галерах, над матросами и прикованными к веслам гребцами. В XVI веке у турок эти должности еще практиковались и остались в наших песнях и былинах казачества Запорожья. Песня о «Самийле Кошке» представляет очень ценный тип такого положения доверенного лица, до поры до времени дерущего шкуру со своих же братьев¹.

Эти две статуи, два типа, вероятно, были уже на положении рабов, уважаемых своими господами, и, вероятно, за свои заслуги они и увековечены в статуях по воле их господина.

Левый — высокого роста красавец, должно быть, блондин с окладистой бородкой, представитель севера... и его лицо неотразимо обвеивает меня своими бесконечными грезами, неотступными грезами о крае родном. Да, он тоскует по родине... Ни великая культура древнего Рима и его провинций с великолепными виллами, ни веселая жизнь южан-язычников — ничто не может заменить ему бедных широких степей и теплых изб грубой родины... О, как загадочно и неисчерпаемо лицо с красивыми чертами этого русского ярославца!.. Другой — тип «моторного» человека: нос небольшой, картошкой; лицо озабочено делами двора; он некрасив, но что-то в нем напоминает и Крамского, и Льва Толстого; этот скиф был, разумеется, очень умный и дельный мажордом у патриция.

Высказав так много своего личного по поводу бурлака Канина, я не могу не привести здесь мнений другого лица. Четыре года спустя после писания этюда я жил в Париже как пенсионер Академии художеств. Мастерскую мою посетил однажды А. А. Половцев. Этюд бурлака Канина висел на стене, приколотый кнопками. Сановник заинтересовался им, внимательно рассматривал и сказал: «Какая хитрая bestия этот мужичонко; посмотрите, с какой иронией он смотрит»...

Впоследствии, когда А. А. Корелин устраивал в Нижнем-Новгороде музей в отведенной для него башенке, я пожертвовал этюд с Канина в Нижегородский музей.

¹ Репин имеет в виду украинскую думу «Побег Самийлы Кошки из турецкой неволи» (1599). Самийло Кошка — гетман запорожцев, попал в плен к туркам в Трапезунд и был рабом много лет. В качестве надсмотрщика над рабами изображен сотник лях Бутурлак, который «потурчился, побасурманился» и обращался с невольниками-христианами очень жестоко.



Осень на Волге

XVI

ОТЪЕЗД

Вечера стали длиннее, и мы впервые подумали о чтении. У кого-то из нас нашлось много книг Писарева. Стали читать — нет, никакого интереса не представляла уже для нас его задорная талантливая полемика; а статьи критические, вроде «Пушкин и Белинский», нас даже обидели, и мы его бросили. Нашелся Тургенев. Вот, думали, где душу отведем: увы! От книги пошел приторный флер-д'оранж... Романтизм, совсем не в нашем духе. Нам показалось все это сентиментальностью, и претила эта праздная помещицья среда.

— А вот у меня есть «Илиада» Гомера, — говорит осклабясь Кириллыч, — как это вам покажется? Не попробовать ли?

— Ха-ха, — развеселился от этой неожиданности Васильев. — Да ты несомненный антик! Какую книгу в дорогу берет!..

— Нет, где же нам, заснем от этих шестистопных дактилей и спондеев; это, ведь, надо особенно как-то читать, нараспев, я не берусь. Если нас, — продолжал Васильев, — даже Тургенев не восхищает, так уже не до этой допотопности... А ну-ка, дай! «Гнев богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына»...

— Ничего не понимаю: нет, а ну дальше?

И вдруг неожиданно совсем, слово за словом, стих за стихом, и мы не заметили, как нас втянула эта живая быль. Мы уже не могли оторваться.

Васильев устал, взял я и чувствую, что меня охватывает восторг, и я начинаю представлять, будто все это пишется про самых близких нам людей. И с этого вечера, с этого постоянного чтения (нашлась и «Одиссея»), куда бы мы ни пошли, ни поплыли на лодке, везде стихи из бессмертных живых поэм сопровождали нас и пели живым языком наши чувства.

Например, каждый вечер, возвращаясь в сумерки, как не сказать:

Солнце тем временем село, и все потемнели дороги.

Всякий раз, как мы въезжали в наши меняющиеся пристани, мы невольно повторяли заученные строки вечно живой книги:

С шумом легкий корабль вбежал в глубодонную пристань,
Все паруса опустили, сложили на черное судно,
Мачту к гнезду притянули, поспешно спустив на канатах,
И корабль в пристанище дружно пригнали на веслах.

Когда же в полном сборе с утра мы направлялись в какую-нибудь сторону по Волге, то, дополняя друг друга, громко вычитывали:

Но лишь являлась заря, розоперстая вестница утра...
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер подул к поплывшему судну,
Страшно вокруг кияля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.

Понемногу, мы все более и более пристращались к героическому эпосу и, наконец, начали комплектовать полки из мальчишек и не шутя стали воевать. Как-то странно произошло, что Макаров и брат мой совсем не принимали в этих баталиях участия. Усевшись где-нибудь повыше на го-

рах, они наблюдали нас с птичьего полета. Впрочем, Макарову, конечно, было жаль и сапог, и всего костюма, которые горели на росе в лесу.

Армии же Васильева и моя вели ожесточенную войну. Засады в кустах, прятки в ямках, ползание за камнями, — всё это делалось с трепетавшим сердцем, пересохшим горлом. Обойти неприятеля, взять в плен его зазевавшуюся где-нибудь роту, отбить отсталого, ловко схватив за шиворот мальчугана... ему давалась подбойка правой ногой под коленки сзади и... Тут же сам собою срывался классический стих:

С шумом на землю он пал, и взгремели на падшем доспехи.

Хотя доспехи эти были большей частью ватная рвань и ложилась она мягко-неслышно на траву или на пенёк, но воображение рисовало и латы, и шлемы, торчащая вата с прованной шапки обращалась в султаны...

Оружие наше росло тут же неподалеку, в лозняках. Необыкновенно ровные и гибкие лозы в изобилии доставляли нам длинно-тенные пики с султанчиками, и мы постоянно упражнялись в метании их в цель.

«Есть упоение в бою»; и я испытал это здесь до потери всякого разума. Пики летели густым косым дождем, когда наши колонны шли в рукопашный бой... И я до того рассвирепел и повел своих, дрогнувших в низкой ложине, на приступ, что опомнился, когда кровь полилась уже мне на грудь. Одна меткая пика неприятеля ударила меня в верхнюю челюсть под самым глазом... Если бы она попала на поддьюма выше — остался бы я одноглазым циклопом, но случай спас меня...

В это время леса начали расцвечиваться яркими листьями, и мы заносили акварелью в наши отрывные листы много фантастических пейзажиков. Наверху оказалась масса орешника; совсем спелые орехи падали даже под лощины, но их никто не собирал — обитатели, вероятно, ленились подниматься повыше или вовсе не знали об этом. Мы набивали себе карманы, дарили хозяевам и даже увезли с собою довольно объемистые, туго набитые орехами мешки. Крупные, полные — если их прокалить, они превосходили вкусом самые лучшие фундуки¹; наши были полосатые.

Делалось холоднее: дни становились серые, пасмурные, короткие, и наши сердца уже сжимались при мысли об обратном пути.

¹ *Фундуки* — крупные орехи, растущие на Кавказе и в Крыму.

Грустные строки приходится писать о ликвидации нашего общего имущества, приобретенного нами уже в Самаре; не везти же было всего хозяйства в Петербург! Например, самовар, лампа, утюг, жаровня (решетка) и много фарфоровой и глиняной посуды, словом, все вещи хозяйственные, необходимые, — все это хотели мы уступить хозяевам за половинную цену и думали, что они будут довольны. Позвали хозяев — старались созвать всех, то есть и баб. Они сразу обиделись, долго не шли к нам и заявили, когда вошли, что им ничего нашего не нужно.

— Ну, как же, ну, например, самовар? Мы заплатили за него восемь рублей, вам отдадим за четыре.

— Самовар, пожалуй, можно взять, — отвечают они с неприязнью, — но мы за него больше рубля не дадим, а прочие вещи хоть назад везите, нам они ни к чему...

Сначала мы были огорчены, но к вечеру призвали их и отдали все за рубль.

Скоро, скоро пролетело лето! Вот мы снова сидим в большой завозне со всеми сундуками и чемоданами, скорчившись от холода. Разыгрался ветер и поднял такие волны, что, казалось, вот-вот они зальют и поглотят нас в волжской пучине со всеми нашими богатствами, — страшно было. На веслах сидели две бабы и девочка-подросток, с кошачьими серыми круглыми глазами. Девочке, кажется, было жаль нас, она глядела на нас участливо, и в ее кошачьих детских глазах я получал успокоение. Долго держались мы в установленном месте, ожидая парохода; должно быть, волны задерживали его на пристанях: да и грузу к осени отовсюду поступали увеличенные партии.

Было очень трудно приставать к трапу; к нам спрыгнул матрос с канатом... Мордовались, мордовались, пока прицепились к парходной лесенке, и, наконец, были подхвачены лоцманами и юнгами. На пароходе, как на море, слышались стоны от морской болезни, а волны захлестывали даже на палубу; везде было мокро, скоро и дождь пошел. Мы с радостью пробрались в общую каюту и стали обогреться чаем. Какое счастье — культура! Буфет: все, чего душа желает. О, если бы мы были побогаче!.. Но порции крошечные, а цены огромные, мы щелкаем жигулевские орехи, которыми в дорогу туго набили карманы..

Меня очень беспокоил мой еще непросохший большой холст, на котором я по всем пасмурным дням компановал, писал и переписывал свой «Шторм на Волге». Я постоянно спрашивался о нем, чтобы кто не придавил. Ну, ничего: запакваны большие холсты вместе, обложены лубками, завер-

нуты бумагами, перевязаны веревками. Авось, сохранно доедут долгий путь с пересадками.

Я не могу не думать о своей последней картине: плывет моя гибкая лыковая флотилия по Волге; привыкает к полной тишине, при которой деревья-колоссы спокойно лежат нерушимо и сами лепятся друг к другу. В шесть-семь недель однакоже и самое крепкое лыко от самых незаметных покачиваний успеет все-таки перетереться и перетлеть до паутинной тонкости, хотя местами они и веревками связаны... Но разве русский человек подумает о тщательном ремонте до поры до времени, то есть пока не грянет гром?.. А тучи уже сгущаются до тьмы; на широких разливах даже берегов не видно. Вот ослепила молния, вот и грянул гром. Забурело серой стеной внизу под разорванными клоками облаков, полнимаются белые валы и все ближе и ближе со всяким сором вдруг ураганят на наших оторопевших мореходов... Буря! Вот она перевернула треножку с котелком и сорвала куренок со всеми запасами и понесла все это в пенные гребни, рассыпала и разметала по воздуху... Какой скрип вдруг поднялся!.. Ай, какой ужас! Часть плота совсем оторвало и заворачивает в другой затон!.. На руле ничего не поделаешь; да он и оторван, остается в стороне совсем олонок, хотя все звено его и не разбросано еще пока... Такой шум и рев и от дождя-ливня, и от стука бревен, что мальчик, оставшийся вдаль на заднем звене, только картинно-пластически изображает усилие звука, приложив руку к щеке: его совсем не слышно; а если бы и услышали — чем ему помочь?!

Вообще на Волге быстро замирает звук человеческого голоса. Чуть, бывало, отстанешь от товарищей, кричишь, кричишь, никакого ответа не слышно, товарищи идут, не оглядываясь, в полной тишине...

Прощай, Волга, Волга-матушка! Я вспоминаю свою жертву Волге. Мы ехали еще вниз тогда. В Самаре, в жаркий день, когда пароход наш остановился на два-три часа грузиться и перегружаться, мы воспользовались свободой — осмотреть город. Но велика была жажда выкупаться в Волге. Совсем близ нашей пристани общая купальня; мы в блаженном упоении не имели сил расстаться скоро с водою... Но надо было торопиться, еще много дела. Заторопившись одеваться, я не успел подхватить своих часов с цепочкой, как они ерзнули с моего летнего жилета и быстро слегели в воду бездонной купальни. Сначала я крикнул товарищам, явились даже какие-то молодцы, служащие в купальне, расспрашивали, какие часы. Часы были серебряные, с се-

ребрянной же цепочкой, они стоили двадцать четыре рубля, да цепочка рублей восемь.

Некоторые даже стали раздеваться, чтобы нырять в глубину за часами... Но на меня вдруг напал какой-то эпический восторг. Не надо искать, ничего не надо! Я приношу эти часы в жертву Волге, как Садко купец, богатый гость... Раздался звонок с парохода; нас уже сзывали в путь.

Первый звонок...

И вот только теперь, в Нижнем, я вспомнил о своей невольной жертве Волге, и мне казалось ясно, что Волга-матушка вознаграждает меня по-царски за мой подарок ей. И действительно: Волга меня вознаградила впоследствии, как родного сына, щедро и широко.

Душа уже полна трепетом академической жизни: скоро начнутся научные лекции; скоро наступят и конкурсы на большую золотую медаль.

Какова-то попадетс я квартира (то есть комната)? Если бы опять в том же доме.... Деньги были в минусах долгов товарищам. И это меня особенно угнетало, до лишения сна.

Хорошо еще, что мы догадались из Нижнего проехать по железной дороге — это нас спасло. Пришлось платить за проезд в третьем классе, зато выигрывалось время; а на пароходах хоть нас и везли даром, но все же черепашиным шагом. Плоскодонные посуды всю душу изводили медленной тягой, а порции пароходных буфетов, казалось нам, становились все меньше и все дороже...

Мне опять сделалось страшно перед большим городом, как в первый раз... Что-то будет?.. Но в 1863 году я был один, в настроении искателя приключений: казалось, чем безысходнее, тем занимательнее жизнь. Теперь же на моем попечении был брат.

Странно, что, только перевалив черту города, я догадался, что прежде всего мне надо было явиться к моему начальнику П. Ф. Исееву и поблагодарить его за участие, которое так твердо поставило нас над западней захолустья.

— А, Репин, вы очень кстати являетесь! На-днях я докладывал о вас великому князю Владимиру Александровичу, и он очень заинтересован: надо непременно показать ему ваши работы. К завтраму же устройте в конференц-зале ему ваши этюды, рисунки, с помощью и указанием П. А. Черкасова. Около часу он осмотрит, что вы привезли.

Какой сюрприз! Великий князь Владимир Александрович был моложе меня на два года, красавец, со звонким чарующим голосом. Я восхищался им в душе особенно потому,



Голова Кинана. Деталь картины «Бурлаки на Волге»

что он сильно напоминал мне двоюродного брата Иваню Бочарова. Те же черные кудри, те же серо-голубые глаза, полные жизни и скрытого веселья. В Иваню были влюблены все барышни; он был первейшим танцором, писал стихи на всякие случаи осинового кружка молодежи, он был старше меня на два года, и я был до упоения восхищен его поступками; он оживлял наши балы, вокруг него только и держался весь трепет молодой жизни нашей Осинки.

Великий князь Владимир Александрович тогда был вице-президентом Академии художеств, президентом была его тетка, великая княгиня Мария Николаевна. В. А. частенько посещал нашу Академию, и мы наблюдали его издали: всегда находилась группа досужих.

Черкасов счел наиболее удобным для обозрения разложить на полу мои этюды, эскизы и рисунки, привезенные с Волги. В назначенное время, с аккуратностью часов, великий князь приехал в Академию художеств и по широким лестницам прошел своим скорым шагом прямо в конференц-зал. Изогнувшись боком, долговязый Черкасов с вихрами на затылке что-то докладывал ему вдогонку. Вижу, они прошли к моим работам, только что разложенным вахтером на полу, и великий князь начал внимательно разглядывать их.

Оторвавшись на минуту и подняв глаза на нас, выглядывавших на него из полуотворенной двери в весьма почтительном отдалении, он остановил свой взгляд на мне, и я ясно услышал, как он сказал: «А вон и сам Репин».

Я был удивлен, что он помнит меня. Он сделал мне рукой знак приблизиться и начал расспрашивать довольно подробно, особенно об эскизах. Прежде всего он указал на мой первый эскиз «Бурлаки» к предположенной картине¹:

— Вот этот сейчас же начинайте обрабатывать для меня.

Я в молодости вообще имел способность краснеть быстро по всякому случаю и почувствовал вдруг, как до самой макушки я уподобился кумачу. Но это же опынение собственной кровью наполнило меня и смелостью до дерзости не по этикету. И я сказал великому князю, что я больше мечтал и готовился заняться «Штормом на Волге», вот по этому эскизу,— указал я на самый большой свой холст².

¹ Репин работал над картиною «Бурлаки на Волге» в 1871—1873 годах. В 1873 году Репин выставил в Академии уже вполне законченную картину, которая находится в Русском музее. Вариант картины, написанный в 1872 году, хранится в Третьяковской галлерее.

² Этот эскиз к большой картине, так и оставшейся неосуществленной, находится в Русском музее.

— Хорошо, — сказал великий князь, — делайте и это для меня...

Разумеется, я был, как в бреду. И меня поразило, как это он сразу остановился на «Бурлаках», тянувших лямку, которые были еще так плохи и на таком ничтожном картончике, а «Шторм» на большом подрамке собственной работы в Ширяеве был уже и по свету, и по краскам довольно разработан.

Странно, что впоследствии, в разные времена, когда картиной моей «Бурлаки на Волге» была заинтересована либеральная часть общества, а консервативная ее так хаяла, бывали очень противоречивые столкновения отзывов. С удивлением выслушивал я многих лиц разных взглядов, положений и влияний.

Так например, когда я был уже в Париже в качестве пенсионера Академии художеств, в мастерской А. П. Боголюбова¹ встречал я многих русских, смотревших на меня с нескрываемым любопытством, не без иронии: «Ах, да, ведь, вы знаменитость, слышали, слышали: вы там написали каких-то рыбаков. Как же! прогремели».

А министр путей сообщения Зеленый сразу начальнически напал на меня в присутствии Боголюбова у него же в мастерской.

— Ну скажите, ради бога, какая нелегкая вас дернула писать эту нелепую картину? Вы, должно быть, поляк?.. Ну, как не стыдно — русский?.. Да, ведь, этот допотопный способ транспортов мною уже сведен к нулю, и скоро о нем не будет и помину. А вы пишете картину, везете ее на всемирную выставку в Вену и, я думаю, мечтаете найти какого-нибудь глупца богача, который приобретет себе этих горилл, наших лапотников! Алексей Петрович, — обращается он к Боголюбову, которому как заслуженному профессору поручено было Академией художеств наблюдение за пенсионерами, — хоть бы вы им внушили, этим господам нашим пенсионерам, чтобы, будучи обеспечены своим правительством, они были бы патриотичнее и не выставляли бы отрепанные ошучи напоказ Европе на всемирных выставках...

Ну, скажите, мог ли я после этой тирады сказать министру путей сообщения, что картина писалась по заказу великого князя Владимира Александровича и принадлежит ему?

¹ Боголюбов Алексей Петрович (1824—1896) — известный русский пейзажист, долгое время живший в Париже, где его мастерская была центром русских художников.

Или еще позже:

— А скажите, пожалуйста, кому принадлежит ваша великолепная картина «Бурлаки на Волге»? Какие типы! Забыть не могу. Это была самая выдающаяся картина в русском жанре... И в Вене немец Пехт дал о ней блестящий отзыв; особенно о солнце в картине и о наших типах, еще живых скифах. А где она? Разумеется, в Третьяковской галерее, но я не помню... Да где же иначе? Какому же она может частному лицу принадлежать? И как это ее не запретили вам для выставки?! Воображаю, как двор и аристократия ненавидит эту картину, как и нашего поэта-гражданина Некрасова!... Вот ее проклинают, наверно, в высших сферах!.. И вы там на плохом счету.

А картина, между тем, в то время висела уже в миллиардной комнате великого князя, и он мне жаловался, что стена вечно пустует: ее все просят у него на разные европейские выставки. А надо правду сказать, что великому князю картина эта искренне нравилась. Он любил объяснять отдельные характеры на картине: и расстригу попа Канина, и солдата Зотова, и нижегородского бойца, и нетерпеливого мальчишку — умнее всех своих старших товарищей; всех их знал великий князь, и я слышал собственными ушами, с каким интересом он объяснял-все до самым последних намеков даже в пейзаже и фоне картины.

По поводу картины поднялся сугубый шум в литературе, журналистике. Авсеенко напал на картину за нелепость ее выдумки, начиная с какой-то «невероятной барки с качелями» (тоже воображение работало!); Суворин, — тогда еще «Незнакомец», — Авсеенку обратил в целую армию добровольцев: Мякиненку, Пшениченку, Овсяненку, Ячмененку, Чечевиченку и других и молотил своим звонким цепом по всем башкам этих болванчиков... Но писалось много и после.

Наконец, даже Ф. М. Достоевский удостоил картину весьма лестного отзыва в своем «Дневнике писателя»¹. Это

¹ В «Дневнике писателя» за 1873 год в статье «По поводу выставки» Достоевский писал: «Нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не любя. Нельзя не подумать, что должен, действительно должен народу... Ведь эта бурлацкая «партия» будет свистеть потом во сне, через пятнадцать лет вспомнится! А не были бы они так натуральны, невинны и просты — не производили бы такого впечатления и не составили бы такой картины». В конце своего отзыва Достоевский писал: «Жаль, что я ничего не знаю о г. Решине. Любопытно узнать, молодой это человек или нет? Как бы я желал, чтоб это был очень еще молодой и только еще начинающий художник».

подымало уже рассуждения в толстых журналах. А главным глашатаем картины был поистине рыцарский герольд Владимир Васильевич Стасов¹. Первым и самым могучим голосом был его клич на всю Россию, и этот клич услышал всяк суший в России язык. И с него-то и началась моя слава по всей Руси великой.

Земно кланяюсь его благороднейшей тени.



Василий Ефимович Репин
в лодке на Волге

¹ О картине «Бурлаки на Волге» В. В. Стасов писал, что Репин «явился теперь с картиною, с которой едва ли в состоянии померяться многое из того, что создано русским искусством. Репин — реалист, как Гоголь, и столько же, как он, глубоко национален. Со смелостью, у нас беспримерною, он... окунулся с головою во всю глубину народной жизни, народных интересов, народной щемящей действительности... По плану и по выражению своей картины г. Репин — значительный, могучий художник и мыслитель, но вместе с тем он владеет средствами своего искусства с такою силою, красотой и совершенством как навряд ли кто-нибудь еще из русских художников... Поэтому нельзя не предвещать этому молодому художнику самую богатую художественную будущность».

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Бурлаки на Неве

Один из первых эскизов И. Е. Репина, сделанных еще до поездки на Волгу



„Как за хлеб, так за брань“



Ларька



Пастушок



Калмык



Мужик в картузе



„Ну, что, много списали?“



Канин



Алешка поп



Бурлак в шляпе



«Солдат»



М. Р.

Саратов

1870

Бурлак



Канин



Голова бурлака



Бурлак

ВОЛОГОДСКАЯ
103 ИТАЛЬЯНИ ЗА
Обл. Библиотека



Левка-дурачок



Этюды к «Бурлакам»

ВОЛОГОДСКАЯ
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
СОЛ. Библиотека



Бурлак



Бурлак в шапке

ВОЛОГОДСКАЯ
СТАЛЬНИЦА
Обл. Вологодская



Бурлак



Бурлак в картузе



Бурлак



Бурлак с трубкой

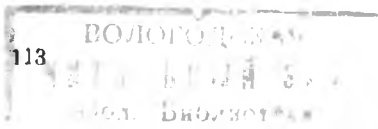
ВОЛОСЕНКА
111 ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ЗАЛ
Оол. Библиотека



Бурлаки у костра



Шторм на Волге





Этюд к картине «Шторм на Волге»



Буря на Волге. На плоту



Бурлаки
Один из эскизов к картине



Бурлаки на Волге
Первая мысль картины



Бурлаки на Волге
Экзистенциальный вариант картины



Бурлаки на Волге

Эскиз, бывший к окончательной редакции картины



Бурлаки на Волге
Последний эскиз картины

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Бурлаки на Волге. Живопись маслом. 1871—1873 гг. Из собрания Русского музея. (Фронтиспис.)	
На Лахте в белую ночь. Ф. А. Васильев, И. Е. Репин, Е. К. Макаров и В. М. Воднецов. Рисунок карандашом. Из собрания И. С. Зильберштейна.	3
И. Е. Репин. Рисунок карандашом Ф. А. Васильева. 1870 г.	5
Василий Ефимович Репин. Брат, И. Е. Репина. Рисунок карандашом. 12 июня 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	6
Художник Е. К. Макаров. Рисунок кистью. 30 декабря 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	7
На берегу Волги. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	10
Завозня. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	15
Жигули. Рисунок карандашом. 12 сентября 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	16
Тихвинка. Рисунок карандашом. 24 июня 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	19
Рыбинск. Рисунок карандашом. 5 июня 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	20
Нижний-Новгород. Рисунок карандашом. 8 июня 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	26
Двор Буяничихи. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	29
Деталь картины «Бурлаки на Волге».	30—31
Лодка. Рисунок карандашом. Ширяев. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	33
Базар в Ставроводе. Рисунок карандашом. 18 июня 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	37
Сфинкс. Рисунок карандашом. Ширяев-буерак. 18 августа 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	41
Ширяев-буерак на Волге. Рисунок карандашом. 1870 г. Из собрания Третьяковской галереи.	42
Девочки. (неоконченный набросок). Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	46
Завозня. Рисунок карандашом. (1870 г.) Из волжских альбомов Репина.	49
Осень на Волге. Акварель. 1870 г. Из собрания Третьяковской галереи.	53
Деталь картины «Бурлаки на Волге».	56—57

«Мазарки». Кладбище на Волге. Рисунок карандашом. Ширяев буерак. 27 августа 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	59
Рыбаки на Волге. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	60
Рыбачьи снасти. Рисунок карандашом. Ставрополь. 20 ию- ня 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	65
Двор на берегу Волги. Рисунок карандашом. Ширяев. 4 июля 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	69
Козьи Рожки. Рисунок карандашом. Ширяев буерак. 3 сентя- бря 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	71
Бентерь. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	75
На Волге. Плоты. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	77
Самара. Рисунок карандашом и кистью. 18 июня 1872 г.	79
Васильев и Макаров на этюде. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	81
Царев Курган. Рисунок карандашом. Ширяев. 8 сентября 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	82
Осень на Волге. Рисунок карандашом. Царевщина. 1 сентя- бря 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	87
Голова Канина. Деталь картины «Бурлаки на Волге».	92—93
Василий Ефимович Репин в лодке на Волге. Рису- нок карандашом. Ширяев буерак. 23 июля 1870 г. Из волж- ских альбомов Репина.	96
Бурлаки на Неве. Один из первых эскизов И. Е. Репина, сделанных еще до поездки на Волгу. Рисунок кистью. 29 мая 1868 г.	97
«Как за хлеб, так за брань». Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	98
Ларька. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	—
Настушок. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбо- мов Репина.	—
Калмык. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	99
Мужик в картузе. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волж- ских альбомов Репина.	—
«Ну, что, много списали?» Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	—
Канин. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	100
Адешик-поп. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских аль- бомов Репина.	—
Бурлак в шляпе. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	—
«Солдат». Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбо- мов Репина.	—
Бурлак. Рисунок карандашом. 1870 г. Из собрания художника И. И. Бродского.	101
Канин. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	102
Голова бурлака. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	—
Бурлак. Рисунок карандашом. 1870 г. Из собрания Русского музея.	103

Левка-дурачок. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	104
Этюды к «Бурлакам». Рисунок карандашом. Ширяево. 1870 г. Из собрания Третьяковской галереи.	105
Бурлак. Этюд. Живопись маслом. Ширяево. 20 июля 1870 г. Из собрания Третьяковской галереи.	106
Бурлак в шапке. Рисунок кистью (сепия). 1870 г. Из собрания Киевского музея русского искусства.	107
Бурлак. Этюд. Акварель. Ширяев буерак. 1870 г. Из собрания Третьяковской галереи.	108
Бурлак в картузе. Рисунок кистью (сепия). 1871 г. Из собрания Киевского музея русского искусства.	109
Бурлак. Этюд. Живопись маслом. 1870 г. Из собрания Русского музея.	110
Бурлак с трубкой. Этюд. Живопись маслом. Из собрания Третьяковской галереи.	111
Бурлаки у костра. Живопись маслом. Из собрания художника И. И. Бродского.	112
Шторм на Волге. Живопись маслом. 1873 г. Из собрания Русского музея.	113
Этюд к картине «Шторм на Волге». Рисунок кистью. Из волжских альбомов Репина.	114
Буря на Волге. На плоту. Живопись маслом. 1870 г. Из собрания Русского музея.	115
Бурлаки. Один из эскизов к картине. Рисунок карандашом. 1870 г. Из волжских альбомов Репина.	116
Бурлаки на Волге. Первая мысль картины. Рисунок карандашом. Ширяев буерак. 30 июля 1870 г.	—
Бурлаки на Волге. Эскиз одного из первоначальных вариантов картины. Живопись маслом. 1870 г. Из собрания В. И. Павлова.	117
Бурлаки на Волге. Эскиз, близкий к окончательной редакции картины. Рисунок карандашом. 1870 г. Из собрания Третьяковской галереи.	118
Бурлаки на Волге. Последний эскиз картины. Живопись маслом. 1870 г. Из собрания Третьяковской галереи.	119
Бурлаки, идущие в брод. Вариант картины. Живопись маслом. 1872 г. Из собрания Третьяковской галереи.	120

СОДЕРЖАНИЕ

I. Нева — первое впечатление	3
II. Пейзажист Ф. А. Васильев	10
III. Сборы на Волгу	16
IV. П. Ф. Исеев	20
V. Путешествие	26
VI. Переезд	37
VII. Ширяево	42
VIII. Императорская печать	46
IX. Натура — учитель	49
X. Становой	60
XI. Бурлаки	65
XII. Цепью к антихристу	69
XIII. Наша взяла!	76
XIV. Отверженных не жалеют	79
XV. Канин	82
XVI. Отъезд	87

*Обложка и титул художника
Н. М. Лобанова*

*Текст напечатан по книге И. Е. Репина
«Далекое близкое» под редакцией Корнея
Чуковского, Государственное издатель-
ство «Искусство», Москва — Ленинград,
1944*

Редактор А. И. Леонов

Л73325. Подписано в печать 10/VI 1944 г. «Искусство» № 10527. Печ. л. 79, и 4 вклейки.
Уч.-изд. л. 7,0. Зп. в печ. л. 34 065. Тираж 3000. Зак. 929. Цена 25 руб.

Тип. «Красный печатник», Москва, ул. 25 Октября, 5.

Вклейки отпечатаны в фототипии изд-ва «Искусство», Москва, 2-й Цветковский пер., 2

ВОЛОГОДСКАЯ
ЧИТАЛЬНИЦА
Обл. Библиотека